

Библиотека Всемирной Литературы



Чингиз Айтматов

# Плаха



## Annotation

Главный герой романа Авдий Каллистратов, бывший семинарист, выезжает по заданию молодежной редакции в Моюнкумскую саванну за материалом про анашистов, собирающих коноплю. Им движет не только задание, но и мысль спасти павших и снова сделать из них людей. Наивный Авдий воспринимает мир только через «призму добра» и, сам того не замечая, иногда становится орудием в руках зла...

---

- [Чингиз Айтматов](#)
    - [Часть первая](#)
      - [I](#)
      - [II](#)
      - [III](#)
      - [IV](#)
      - [V](#)
    - [Конец ознакомительного фрагмента.](#)
-

**Чингиз Айтматов**

**Плаха**

# Часть первая

Вслед за коротким, легким, как детское дыхание, дневным потеплением на обращенных к солнцу горных склонах погода вскоре неуловимо изменилась: заветрило с ледников, и уже закрадывались по ущельям всюду проникающие резкие ранние сумерки, несущие за собой холодную сизость предстоящей снежной ночи.

Снега было много вокруг. На всем протяжении Прииссыкульского кряжа горы были завалены метельным свеем, прокатившимся по этим местам пару дней тому назад, как полыхнувший вдруг по прихоти своевольной стихии пожар. Жутко, что тут разыгралось: в метельной крошечности исчезли горы, исчезло небо, исчез весь прежний видимый мир. Потом все стихло, и погода прояснилась. С тех пор, с умиротворением снежного шторма, скованные великими заносами горы стояли в цепенеющей и отстранившейся ото всего на свете стыллой тишине.

И только все настойчивей возрастающий и все прибывающий гул крупнотоннажного вертолета, пробирающегося в тот предвечерний час по каньону Узун-Чат к ледяному перевалу Ала-Монгю, задымленному в ветреной выси кручеными облаками, все нарастал, все приближался, усиливаясь с каждой минутой, и наконец восторжествовал – полностью завладел пространством и поплыл всеподавляющим, гремучим рокотом над недоступными ни для чего, кроме звука и света, хребтами, вершинами, высотными льдами. Умножаемый среди скал и распадков многократным эхом, грохот над головой надвигался с такой неотвратимой и грозной силой, что казалось, еще немного – и случится нечто страшное, как тогда – при землетрясении...

В какой-то критический момент так и получилось: с крутого, обнаженного ветрами каменистого откоса, что оказался по курсу полета, тронулась, дрогнув от звукового удара, небольшая осыпь и тут же приостановилась, как заговоренная кровь. Этого толчка неустойчивому грунту, однако, было достаточно, чтобы несколько увесистых камней, сорвавшись с крутизны, покатались вниз, все больше разбегаясь, раскручиваясь, вздымая следом пыль и щебень, а у самого подножия проломились, подобно пушечным ядрам, сквозь

кусты краснотала и барбариса, пробили сугробы, достигли накатом волчьего логова, устроенного здесь серыми под свесом скалы, в скрытой за зарослями расщелине близ небольшого, наполовину замерзшего теплого ручья.

Волчица Акбара отпрянула от скатившихся сверху камней и посыпавшегося снега и, птясь в темень расщелины, сжалась, как пружина, вздыбив загривок и глядя перед собой дико горящими в полутьме, фосфоресцирующими глазами, готовая в любой момент к схватке. Но опасения ее были напрасны. Это в открытой степи страшно, когда от преследующего вертолета некуда деться, когда он, настигая, неотступно гонится по пятам, оглушая свистом винтов и поражая автоматными очередями, когда в целом свете нет от вертолета спасения, когда нет такой щели, где можно было бы схоронить бедовую волчью голову, – ведь не расступится же земля, чтобы дать укрытие гонимым.

В горах иное дело – здесь всегда можно ускакать, всегда найдется, где затаиться, где переждать угрозу. Вертолет здесь не страшен, в горах вертолету самому страшно. И однако страх безрассуден, тем более уже знакомый, пережитый. С приближением вертолета волчица громко заскулила, собралась в комок, втянула голову, и все-таки нервы не выдержали, сорвалась-таки, и яростно взвыла Акбара, охваченная бессильной, слепой боязнью, и судорожно поползла на брюхе к выходу, лязгая зубами злобно и отчаянно, готовая сразиться, не сходя с места, точно надеялась обратить в бегство грохочущее над ущельем железное чудовище, с появлением которого даже камни стали валиться сверху, как при землетрясении.

На панические вопли Акбары в нору просунулся ее волк – Ташчайнар, находившийся с тех пор, как волчица затяжелела, большей частью не в логове, а в затишке среди зарослей. Ташчайнар – Камнедробитель, – прозванный так окрестными чабанами за сокрушительные челюсти, подполз к ее ложу и успокаивающе заурчал, как бы прикрывая ее телом от напасти. Притискиваясь к нему боком, прижимаясь все теснее, волчица продолжала скулить, жалобно взывая то ли к несправедливому небу, то ли неизвестно к кому, то ли к судьбе своей несчастной, и долго еще дрожала всем телом, не могла совладать с собой даже после того, как вертолет исчез за могучим глетчером Ала-Монгю и его стало совсем не слышно за тучами.

И в этой воцарившейся разом, подобно обвалу космического беззвучия, горной тишине волчица вдруг явственно услышала в себе, точнее внутри чрева, живые толчки. Так было, когда Акбара, еще на первых порах своей охотничьей жизни, придушила как-то с броска крупную зайчиху: в зайчихе, в животе ее, тоже почудились тогда такие же шевеления каких-то невидимых, скрытых от глаз существ, и это странное обстоятельство удивило и заинтересовало молодую любопытную волчицу, удивленно наставив уши, недоверчиво взирающую на свою удушенную жертву. И настолько это было чудно и непонятно, что она попыталась даже затеять игру с теми невидимыми телами, точь-в-точь как кошка с полуживой мышью. А теперь сама обнаружила в нутре своем такую же живую ношу – то давали знать о себе те, которым предстояло при благополучном стечении обстоятельств появиться на свет недели через полторы-две. Но пока что ненародившиеся детеныши были неотделимы от материнского лона, составляли часть ее существа, и потому и они пережили в возникающем, смутном, утробном подсознании тот же шок, то же отчаяние, что и она сама. То было их первое заочное соприкосновение с внешним миром, с ожидающей их враждебной действительностью. Оттого они и задвигались в чреве, отвечая так на материнские страдания. Им тоже было страшно, и страх тот передался им материнской кровью.

Прислушиваясь к тому, что творилось помимо воли в ее ожившей утробе, Акбара заволновалась. Сердце волчицы учащенно заколотилось, его наполнили отвага, решимость непременно защитить, оградить от опасности тех, кого она вынашивала в себе. Сейчас бы она не задумываясь схватилась с кем угодно. В ней заговорил великий природный инстинкт сохранения потомства. И тут же Акбара почувствовала, как на нее горячей волной нахлынула нежность – потребность приласкать, пригреть будущих сосунков, отдавать им свое молоко так, как если бы они уже были под боком. То было предощущение счастья. И она прикрыла глаза, застонала от неги, от ожидания молока в набухших до красноты, крупных, выступающих двумя рядами по брюху сосцах, и томно, медленно-медленно потянулась всем телом, насколько позволяло логово, и, окончательно успокоившись, снова придвинулась к своему сивогривому Ташчайнару. Он был могуч, шкура его была тепла, густа и упруга. И даже он,

угрюмец Ташчайнар, и тот уловил, что испытывала она, мать-волчица, и каким-то чутьем понял, что происходило в ее утробе, и тоже, должно быть, был тронут этим. Поставив ухо торчком, Ташчайнар приподнял свою угловатую, тяжеловесную голову, и в сумрачном взоре холодных зрачков его глубоко посаженных темных глаз промелькнула какая-то тень, какое-то смутное приятное предчувствие. И он сдержанно заурчал, прихрапывая и покашливая, выражая так доброе свое расположение и готовность беспрекословно слушаться синеглазую волчицу и оберегать ее, и принялся старательно, ласково облизывать голову Акбары, особенно ее сияющие синие глаза и нос, широким, теплым, влажным языком. Акбара любила язык Ташчайнара и тогда, когда он заигрывал и ластился к ней, дрожа от нетерпения, а язык его, разгорячась от бурного прилива крови, становился упругим, быстрым и энергичным, как змея, хотя попервоначально и делала вид, что это ей, по меньшей мере, безразлично, и тогда, когда в минуты спокойствия и благоденствия после сытной еды язык ее волка был мягко-влажным.

В этой паре лютых Акбара была головой, была умом, ей принадлежало право зачинать охоту, а он был верной силой, надежной, неутомимой, неукоснительно исполняющей ее волю. Эти отношения никогда не нарушались. Лишь однажды был странный, неожиданный случай, когда ее волк исчез до рассвета и вернулся с чужим запахом иной самки – отвратительным духом бесстыжей течки, стравливающей и скликающей самцов за десятки верст, вызвавшим у нее неудержимую злобу и раздражение, и она сразу отвергла его, неожиданно вонзила клыки глубоко в плечо и в наказание заставила ковылять много дней кряду позади. Держала дурака на расстоянии и, сколько он ни выл, ни разу не откликнулась, не остановилась, будто он, Ташчайнар, и не был ее волком, будто он для нее не существовал, а если бы он и посмел снова приблизиться к ней, чтобы покорить и ублажить ее, Акбара померилась бы с ним силами всерьез, не случайно она была головой, а он ногами в этой пришлой сивой паре.

Сейчас Акбара, после того как она немного поуспокоилась и пригрелась под широким боком Ташчайнара, была благодарна своему волку за то, что он разделил ее страх, за то, что он тем самым возвратил ей уверенность в себе, и потому не противилась его усердным ласкам, и в ответ раза два лизнула в губы, и, преодолевая смятение, которое все еще давало себя знать неожиданной дрожью,



сосредоточивалась в себе, и, прислушиваясь к тому, как непонятно и беспокойно вели себя еще не народившиеся щенята, примирилась с тем, что есть: и с логовом, и с великой зимой в горах, и с надвигающейся исподволь морозной ночью.

Так заканчивался тот день страшного для волчицы потрясения. Подвластная неистребимому инстинкту материнской природы, переживала она не столько за себя, сколько за тех, которые ожидалась вскоре в этом логове и ради которых они с волком выискали и устроили здесь, в глубокой расщелине под свесом скалы, сокрытой всяческими зарослями, навалом бурелома и камнепада, это волчье гнездо, чтобы было где потомство родить, чтобы было где свое пристанище иметь на земле.

Тем более что Акбара и Ташчайнар были пришлыми в этих краях. Для опытного глаза даже внешне они разнились от их местных собратьев. Первое – отвороты меха на шее, плотно обрамлявшие плечи наподобие пышной серебристо-серой мантии от подгрудка до холки, у пришельцев были светлые, характерные для степных волков. Да и ростом акджалы, то бишь сивогривые, превышали обычных волков Прииссыккульского нагорья. А если бы кто-нибудь увидел Акбару вблизи, его бы поразили ее прозрачно-синие глаза – редчайший, а возможно, единственный в своем роде случай. Волчица прозывалась среди здешних чабанов Акдалы, иначе говоря, Белохолкой, но вскоре по законам трансформации языка она превратилась в Акбары, а потом в Акбару – Великую, и между тем никому невдомек было, что в этом был знак провидения.

Еще год назад сивогривых здесь не было и в помине. Появившись однажды, они, однако, продолжали держаться особняком. Попервоначально пришельцы бродили во избежание столкновений с хозяевами большей частью по нейтральным зонам здешних волчьих владений, перебивались как могли, в поисках добычи забегали даже на поля, в низовья, населенные людьми, но к местным стаям так и не пристали – слишком независимый характер имела синеглазая волчица Акбара, чтобы примыкать к чужим и пребывать в подчинении.

Всему судия – время. Со временем сивогривые пришельцы смогли постоять за себя, в многочисленных жестоких схватках захватили себе земли на Прииссыккульском нагорье, и теперь уже они, пришлые, были хозяевами, и уже местные волки не решались вторгаться в их

пределы. Так, можно сказать, удачно складывалась на Иссык-Куле жизнь новоявленных сивогривых волков, но всему этому предшествовала своя история, и если бы звери могли вспоминать прошлое, то Акбаре, которая отличалась большой понятливостью и тонкостью восприятия, пришлось бы заново пережить все то, о чем, возможно, и вспоминалось ей порой до слез и тяжких стонов.

В том утраченном мире, в далекой отсюда Моюнкумской саванне, протекала великая охотничья жизнь в нескончаемой погоне по нескончаемым моюнкумским просторам за нескончаемыми сайгачьими стадами. Когда антилопы-сайгаки, обитавшие с незапамятных времен в саванных степях, поросших вечно сухостойным саксаульником, древнейшие, как само время, из парнокопытных, когда эти неутомимые в беге горбоносые стадные животные с широченными ноздрями-трубами, пропускающими воздух через легкие с такой же энергией, как киты сквозь ус потоки океана, и потому наделенные способностью бежать без передышки с восхода и до заката солнца, – так вот, когда они приходили в движение, преследуемые извечными и неразлучными с ними волками, когда одно спугнутое стадо увлекало в панике соседнее, а то и другое и третье и когда в это поголовное бегство включались встречные великие и малые стада, когда мчались сайгаки по Моюнкумам – по взгорьям, по равнинам, по пескам, как обрушившийся на землю потоп, – земля убегала вспять и гудела под ногами так, как гудит она под градовым ливнем в летнюю пору, и воздух наполнялся вихрящимся духом движения, кремнистой пылью и искрами, летящими из-под копыт, запахом стадного пота, запахом безумного состязания не на жизнь, а на смерть, и волки, пластаясь на бегу, шли следом и рядом, пытаясь направить стада сайгаков в свои волчьи засады, где ждали их среди саксаула матерые резчики, то есть звери, которые бросались из засады на загривок стремительно пробегающей жертвы и, катясь кубарем вместе с ней, успевали перекусить горло, пустить кровь и снова кинуться в погоню; но сайгаки каким-то образом часто распознавали, где ждут их волчьи засады, и успевали пронестись стороной, а облава с нового круга возобновлялась с еще большей яростью и скоростью, и все они, гонимые и преследующие, – одно звено жестокого бытия – выкладывались в беге, как в предсмертной агонии, сжигая свою кровь, чтобы жить и чтобы выжить, и разве что только сам бог мог

остановить и тех и других, гонимых и гонителей, ибо речь шла о жизни и смерти жаждущих здравствовать тварей, ибо те волки, что не выдерживали такого бешеного темпа, те, что не родились состязаться в борьбе за существование – в беге-борьбе, – те волки валились с ног и оставались издыхать в пыли, поднятой удаляющейся, как буря, погоней, а если и оставались в живых, уходили прочь в другие края, где промышляли разбоем в безобидных овечьих отарах, которые даже не пытались спастись бегством, правда, там была своя опасность, самая страшная из всех возможных опасностей, – там, при стадах, находились люди, боги овец и они же овечьи рабы, те, кто сами живут, но не дают выживать другим, особенно тем, кто не зависит от них, а волен быть свободным...

Люди, люди – человекобоги! Люди тоже охотились на сайгаков Моюнкумской саванны. Прежде они появлялись на лошадях, одетые в шкуры, вооруженные стрелами, потом появлялись с бабахаящими ружьями, гикая, скакали туда-сюда, а сайгаки кидались гурьбой в одну, в другую сторону – поди разыщи их в саксаульных урочищах, но пришло время, и человекобоги стали устраивать облавы на машинах, беря на измор, точь-в-точь как волки, и валили сайгаков, расстреливая их с ходу, а потом человекобоги стали прилетать на вертолетах и, высмотрев вначале с воздуха сайгачьи стада в степи, шли на окружение животных в указанных координатах, а наземные снайперы мчались при этом по равнинам со скоростью до ста и более километров, чтобы сайгаки не успели скрыться, а вертолеты корректировали сверху цель и движение. Машины, вертолеты, скорострельные винтовки – и опрокинулась жизнь в Моюнкумской саванне вверх дном...

Синеглазая волчица Акбара была еще полуяркой, а ее будущий волк-супруг Ташчайнар был чуть постарше ее, когда пришел им срок привыкать к большим загонным облавам. Поначалу они не поспевали за погоней, терзали сваленных антилоп, убивали недобитых, а со временем превзошли в силе и выносливости многих бывалых волков, а особенно стареющих. И если бы все шло, как положено природой, быть бы им вскоре предводителями стай. Но все обернулось иначе...

Год на год не приходится, и весной того года в сайгачьих стадах был особо богатый приплод: многие матки приносили двойню, поскольку прошлой осенью во время гона сухой травостой зазеленел

раза два наново после нескольких обильных дождей при теплой погоде. Корма было много – отсюда и рождаемость. На время окота сайгаки уходили еще ранней весной в бесснежные большие пески, что в самой глубине Моюнкумов, – туда волкам добраться нелегко, да и погоня по барханам за сайгаками – безнадежное дело. По пескам антилоп никак не догнать. Зато волчьи стаи с лихвой получали свое осенью и в зимнее время, когда сезонное кочевье животных выбрасывало бессчетное сайгачье поголовье на полупустынные и степные просторы. Вот тогда волкам сам бог велел добывать свою долю. А летом, особенно по великой жаре, волки предпочитали не трогать сайгаков, благо другой, более доступной добычи было достаточно: сурки во множестве сновали по всей степи, наверстывая упущенное в зимнюю спячку, им надо было за лето успеть все, что успевали другие животные и звери за год жизни. Вот и суетилось вокруг сурочье племя, презрев опасность. Чем не промысел – поскольку всему ведь свой час, а зимой сурков не добудешь – их нет. И еще разные зверушки да птицы, особенно куропатки, шли в прикорм волкам в летние месяцы, но главная добыча – великая охота на сайгаков – приходилась на осень и с осени тянулась до самого конца зимы. Опять же всему свое время. И в том была своя, от природы данная целесообразность оборота жизни в саванне. Лишь стихийные бедствия да человек могли нарушить этот изначальный ход вещей в Моюнкумах...

## II

К рассвету воздух над саванной несколько поостыл, и только тогда полегчало – дышать живым тварям стало свободней, и наступил час самой отрадной поры между зарождающимся днем, обремененным грядущим зноем, нещадно пропекающим солончаковую степь добела, и уходящей душной, горячей ночью. Луна запылала к тому времени над Моюнкумами абсолютно круглым желтым шаром, освещая землю устойчивым синеватым светом. И не видно было ни конца, ни начала этой земли. Всюду темные, едва угадываемые дали сливались со звездным небом. Тишина была живой, ибо все, что населяло саванну, все, кроме змей, спешило насладиться в тот час прохлады, спешило пожить. Попискивали и шевелились в кустах тамариска ранние птицы, деловито сновали ежи, цикады, что пропели, не смолкая, всю ночь, затурчали с новой силой; уже высывались из нор и оглядывались по сторонам проснувшиеся сурки, пока еще не приступая к сбору корма – осыпавшихся семян саксаула. Летали с места на место всей семьей большой плоскоголовый серый сыч и пяток плоскоголовых сычат, подросших, оперившихся и уже пробующих крыло, летали как придется, то и дело заботливо перекликаясь и не теряя из виду друг друга. Им вторили разные твари и разные звери предрассветной саванны...

И стояло лето, первое совместное лето синеглазой Акбары и Ташчайнара, уже проявивших себя неутомимыми загонщиками сайгаков в облавах и уже вошедших в число самых сильных пар среди моюнкумских волков. К их счастью, – надо полагать, что в мире зверей тоже могут быть и счастливые и несчастные, – оба они, и Акбара и Ташчайнар, наделены были от природы качествами, особо жизненно важными для степных хищников в полупустынной саванне: мгновенной реакцией, чувством предвидения на охоте, своего рода «стратегической» сообразительностью, и, разумеется, недюжинной физической силой, быстротой и натиском в беге. Все говорило за то, что этой паре предстояло великое охотничье будущее и жизнь их будет полна тяготами повседневного пропитания и красотой своего звериного предназначения. Пока же ничто не мешало им безраздельно

править в Моюнкумских степях, поскольку вторжение человека в эти пределы носило еще характер случайный и они еще ни разу не сталкивались с человеком лицом к лицу. Это произойдет чуть позже. И еще одна льгота, если не сказать привилегия, их от сотворения мира заключалась в том, что они, звери, как и весь животный мир, могли жить изо дня в день, не ведая страха и забот о завтрашнем дне. Во всем целесообразная природа освободила животных от этого проклятого бремени бытия. Хотя именно в этой милости таилась и та трагедия, которая подстерегала обитателей Моюнкумов. Но никому из них не дано было заподозрить это. Никому не дано было представить себе, что кажущаяся нескончаемой Моюнкумская саванна, как ни обширна и как ни велика она, – всего лишь небольшой остров на Азиатском субконтиненте, место величиной с ноготь большого пальца, закрашенное на географической карте желто-бурым цветом, на которое из года в год все сильнее насаждают неуклонно распахиваемые целинные земли, напирают неисчислимые домашние стада, бредущие по степи вслед за артезианскими скважинами в поисках новых ареалов прокорма, наступают каналы и дороги, прокладываемые в пограничных зонах в связи с непосредственной близостью от саванны одного из крупнейших газопроводов; все более настойчиво, долговременно вторгаются все более технически вооруженные люди на колесах и моторах, с радиосвязью, с запасами воды в глубины любых пустынь и полупустынь, в том числе и в Моюнкумы, но вторгаются не ученые, совершающие самоотверженные открытия, коими потомкам надлежит гордиться, а обыкновенные люди, делающие обыкновенное дело, дело, доступное и посильное почти любому и каждому. И тем более обитателям уникальной Моюнкумской саванны не дано было знать, что в самых обычных для человечества вещах таится источник добра и зла на земле. И что тут все зависит от самих людей – на что направят они эти самые обыкновенные для человечества вещи: на добро или худо, на созидание или разор. И уж вовсе неведомы были четвероногим и прочим тварям Моюнкумской саванны те сложности, которые донимали самих людей, пытавшихся познать себя с тех пор, как люди стали мыслящими существами, хотя они так и не разгадали при этом извечной загадки: отчего зло почти всегда побеждает добро...

Все эти человеческие дела по логике вещей никак не могли касаться моюнкумских животных, ибо они лежали вне их природы, вне их инстинктов и опыта. И, в общем-то, до сих пор пока ничто всерьез не нарушало сложившегося образа жизни этой великой азиатской степи, раскинувшейся на жарких полупустынных равнинах и всхолмлениях, поросших только здесь произраставшими видами засухоустойчивого тамариска, эдакой полутравой, полудеревом, каменно-крепким, крученым, как морской канат, песчаным саксаулом, жесткой подножной травой и более всего тростниковым стрелчатый чием, этой красой полупустынь, и при свете луны, и при свете солнца мерцающим наподобие золотого призрачного леса, в котором, как в мелкой воде, кто – ростом хотя бы с собаку – ни поднял головы, увидит все вокруг и будет виден сам.

В этих краях и слагалась судьба новой волчьей пары – Акбары и Ташчайнара, а к тому времени – что самое важное в жизни животных – они уже имели своих тунгучей-первенцев, троих щенят из выводка, произведенных на свет Акбарой той памятной весной в Моюнкумах, в том памятном логове, выбранном ими в ямине под размытым комлем старого саксаула, близ полувысохшей тамарисковой рощицы, куда удобно было выводить волчат на обучение. Волчата уже держали стоймя уши, обретали каждый свой нор, хотя при играх между собой их уши снова по-щенячьи топырились, да и на ногах чувствовали они себя довольно крепко. И все чаще увязывались они следом за родителями в малые и большие вылазки.

Недавно одна из таких вылазок с отлучкой от логова на целый день и ночь чуть было не кончилась для волков неожиданной бедой.

В то раннее утро Акбара повела свой выводок на дальнюю окраину Моюнкумской саванны, где на степных просторах, особенно по глухим падям и буеракам, произрастали стеблевые травы с тягучим, ни на что не похожим, привораживающим запахом. Если долго бродить среди того высокого травостоя, вдыхая пыльцу, то вначале наступает ощущение необыкновенной легкости в движениях, чувство приятного скольжения над землей, а затем появляется вялость в ногах и сонливость. Акбара помнила эти места еще с детства и навевалась сюда раз в году в пору цветения дурман-травы. Охотясь по пути на мелкую степную живность, она любила слегка попить в больших

травах, повалиться в жарком настое травяного духа, почувствовать парение в беге и потом заснуть.

В этот раз они с Ташчайнаром были уже не одни: за ними следовали волчата – трое нескладно длинноногих щенков. Молодняку надлежало как можно больше узнавать в походах окрестности, осваивать сызмальства будущие волчьи владения. Пахучие луга, куда вела на ознакомление волчица, были на краю тех владений, дальше простирался чужой мир, там могли встретиться люди, оттуда, с той неоглядной стороны, доносились порой протяжно завывающие, как осенние ветры, паровозные гудки, то был враждебный волкам мир. Туда, на этот край саванны, шли они, ведомые Акбарой.

За Акбарой трусил Ташчайнар, а волчата резво носились от избытка энергии и все норовили выскочить вперед, но волчица-мать не давала им своевольничать – она строго следила, чтобы никто не смел ступить на тропу впереди нее.

Места шли вначале песчаные – в зарослях саксаула и пустынной полыни, солнце всходило все выше, обещая, как всегда, ясную, жаркую погоду. Уже к вечеру волчье семейство прибыло к краю саванны. Прибыло в самый раз – засветло. Травы в этом году были высоки – почти по холку взрослым волкам. Нагревшись за день на жарком солнце, невзрачные соцветья на мохнатых стеблях источали сильный запах, особенно в местах сплошных зарослей густ был этот дух. Здесь, в небольшом овражке, волки сделали привал после долгого пути. Неугомонные волчата не столько отдыхали, сколько бегали вокруг, приняхиваясь и присматриваясь ко всему, что привлекало их любопытство. Возможно, волчье семейство осталось бы здесь на всю ночь, благо звери были сыты и напоены – по пути удалось схватить несколько жирных сурков да зайцев и разорить много всяких гнезд, жажду же утолили в родничке на дне попутного оврага, – но одно чрезвычайное происшествие заставило их срочно покинуть это место и повернуть восвояси, к логову в глубине саванны. Уходили всю ночь.

А случилось то, что уже на закате, когда Акбара и Ташчайнар, захмелевшие от запахов дурман-травы, растянулись в тени кустов, неподалеку вдруг раздался человеческий голос. Прежде человека увидели волчата, игравшие наверху овражка. Звереныши не подозревали да и не могли предполагать, что неожиданно появившееся здесь существо – человек. Некий субъект почти голый – в одних



плавках и кедах на босу ногу, в некогда белой, но уже изрядно замызганной панаме на голове – бегал по тем самым травам. Бегал он странно – выбирал густые поросли и упорно бегал между стеблями взад-вперед, точно это доставляло ему удовольствие. Волчата вначале притаились, недоумевая и побаиваясь, – такого они никогда не видели. А человек все бегал и бегал по травам, как сумасшедший. Волчата осмелели, любопытство взяло верх, им захотелось затеять игру с этим странным, бегущим как заводной, невиданным, голокожим двуногим зверем. А тут и сам человек приметил волчат. И что самое удивительное – вместо того чтобы насторожиться, подумать, отчего вдруг здесь оказались волки, – этот чудак пошел к волчатам, ласково протягивая руки.

– Смотри-ка, что это? – приговаривал он, тяжело дыша и отирая пот с лица. – Никак волчата? Или это мне почудилось от кружения? Да нет, трое, да такие пригожие, да такие большие уже! Ах вы мои звереныши! Откуда вы и куда? Что вы тут делаете? Меня-то нелегкая занесла, а вы что тут, в этих степях, среди этой проклятой травы? Ну идите, идите ко мне, не бойтесь! Ах вы дурашливые мои зверики!

Неразумные волчата и в самом деле поддались на его ласки. Виляя хвостиками, игриво прижимаясь к земле, они поползли к человеку, надеясь пуститься с ним наперегонки, но тут из овражка выскочила Акбара. Волчица в мгновение оценила опасность положения. Глухо зарычав, она кинулась к голому человеку, розово освещенному предзакатными лучами степного солнца. Ей ничего не стоило с размаху полоснуть его клыками по горлу или по животу. А человек, совершенно обалдевший при виде яростно набегающей волчицы, присел, в страхе схватившись за голову. Это-то его и спасло. Уже на бегу Акбара почему-то переменяла свое намерение. Она перескочила через человека, голого и беззащитного, которого можно было поразить одним ударом, перескочила, успев при этом разглядеть черты его лица и остановившиеся в жутком страхе глаза, почуяв запах его тела, перескочила, развернулась и снова перепрыгнула во второй раз уже в другом направлении, бросилась к волчатам, погнала их прочь, больно кусая за репицы и оттесняя к оврагу, и тут столкнулась с Ташчайнаром, страшно вздыбившим загривок при виде человека, куснула и повернула и его, и все они, гурьбой скатившись в овраг, в мгновение ока исчезли...

И тут только тот голый и нелепый тип спохватился, бросился бежать... И долго бежал по степи, не оглядываясь и не переводя дыхания...

То была первая нечаянная встреча Акбары и ее семейства с человеком... Но кто мог знать, что предвещала эта встреча...

День клонился к концу, исходя нещадным зноем от закатного солнца, от накалившейся за день земли. Солнце и степь – величины вечные: по солнцу измеряется степь, насколько оно велико, освещаемое солнцем пространство. А небо над степью измеряется высотой взлетевшего коршуна. В тот предзакатный час над Моюнкумской саванной кружила в выси целая стая белохвостых коршунов. Они летели без цели, самозабвенно и плавно плыли, совершая полет ради полета в той всегда прохладной, подернутой дымкой, безоблачной выси. Летели один за другим в одном направлении по кругу, как бы символизируя тем вечность и незыблемость этой земли и этого неба. Коршуны не издавали никаких звуков, а молча смотрели, что происходило в тот момент внизу, под их крыльями. Благодаря своему исключительному всевидящему зрению, именно благодаря зрению (слух у них на втором месте) эти аристократические хищники были поднебесными жителями саванны, опускавшимися на грешную землю лишь для прокорма и на ночлег.

Должно быть, в тот час с той непомерной высоты им были как на ладони видны волк, волчица и трое волчат, расположившиеся на небольшом бугорке среди разбросанных кустов тамариска и золотистой поросли чия. Дружно высунув языки от жары, волчье семейство отдыхало на том пригорке, вовсе не предполагая, что является объектом наблюдения поднебесных птиц. Ташчайнар полулежал в своей любимой позе – скрестив лапы впереди, приподняв голову, он выделялся среди всех мощным загривком и мосластостью, тяжеловесностью телосложения. Рядом, подобрав под себя толстый куцый хвост, чем-то похожая на застывшую скульптуру, сидела молодая волчица Акбара. Волчица прочно упиралась перед собой прямыми сухожильными ногами. Ее белеющая грудь и впалое брюхо с торчащими, но уже утратившими припухлость сосцами в два ряда подчеркивали поджарость и силу бедер волчицы. А волчата, тройня, крутились подле. Их непоседливость, приставучесть и игривость вовсе

не раздражали родителей. И волк и волчица взирали на них с явным попустительством: пусть, мол, резвятся себе...

А коршуны все летали в поднебесье и все так же хладнокровно просматривали, что делалось внизу в Моюнкумах при закатном солнце. Неподалеку от волков с волчатами, немного в стороне, в тамарисковых рощах, паслись сайгаки. Их было немало. Довольно большое стадо паслось почти рядом, разбредясь в тамарисках, на некотором удалении от другого, еще более многочисленного скопления. Если бы коршунов интересовали степные антилопы, они бы, обозревая саванну, тянущуюся на десятки километров в ту и в другую сторону, убедились, что сайгакам несть числа – их сотни и тысячи, ибо они искони изобиловали в этом благодатном для них полупустынном ареале. Пережидая вечерний зной, сайгаки по ночам шли на водопой к столь редким и далеким источникам влаги в саванне. Отдельные группы уже сейчас, быстро набирая ход, потянулись в ту сторону. Им надлежало преодолеть большие расстояния.

Одно из стад следовало так близко от пригорка, где находились волки, что тем явственно были видны сквозь призрачно освещенный травостой чья их быстро скользящие бока и спины, приспущенные головы самцов с небольшими рожками. Они всегда движутся с опущенной головой, чтобы не испытывать лишнего сопротивления воздуха, ибо в любой момент готовы рвануться бегом. Так устроила их природа в ходе эволюции, и в том главное преимущество сайгаков, спасавшихся от любой опасности бегством. Даже если они ничем не встревожены, сайгаки обычно идут размеренным галопом, неутомимо и неуклонно, не уступая пути никому, кроме волков, поскольку их, антилоп, множество и в этом уже их сила...

Сейчас они следовали мимо семейства Акбары, скрытого кустами, галопирующей массой, поднимая за собой ветер, пронизанный духом стада и пылью из-под копыт. Волчата на пригорке заволновались, инстинктивно взбудоражились. Все трое напряженно принохивались к воздуху и, не понимая еще, в чем дело, порывались бежать в ту сторону, откуда доносился этот волнующий стадный дух, им очень хотелось кинуться в те стеблистые поросли чья, среди которых угадывалось мелькание многих бегущих тел. Однако волки-родители, ни Акбара, ни Ташчайнар, не шевельнулись и не изменили своих поз, хотя им ничего не стоило буквально в два прыжка очутиться рядом с

проходившим стадом и погнать его, яростно, неудержимо преследовать на измор, так, чтобы в общем беге том, в беге-состязании на грани смерти, когда сдается, что земля и небо меняются местами, изловчиться на каком-нибудь крутом вираже и на лету свалить пару-другую антилоп. Такая возможность была вполне реальной, но могло случиться и так, что не повезло бы, не удалось бы нагнать добычу, случалось и такое. Как бы то ни было, Акбара и Ташчайнар и не подумали начать погоню – хотя, казалось, добыча, можно сказать, сама шла в руки, они не трогались с места. На это имелись свои причины – они были сыты в тот день и устраивать в такую несусветную жару при набитых желудках бешеную гонку, погоню за неуловимыми сайгаками было бы смерти подобно. Но главное – для молодняка еще не пришла пора такой охоты. Волчата могли сломаться – раз и навсегда, если бы, задыхнувшись в беге, отстали от недостижимой цели – больше они бы не пытались дерзать, утратили бы кураж. Зимой, в сезон больших облав – вот когда набравшие сил полуярки, к тому времени уже почти годовалые, могли бы испытать себя, могли бы убедиться, насколько хватит их крепости, могли бы приобщиться к делу, а пока не стоило портить игру. Но то будет преславный час!

Акбара слегка отпрянула от докучавших ей в нетерпении охотничьего азарта волчат, пересела на другое место, все так же провожая цепким взором движение антилоп, следовавших на водопой, скользя бок о бок в серебристых чиях, как рыбы в нересте, плывущие в верховья по реке все в одну сторону и все неотличимые друг от друга. Во взоре Акбары, однако, сквозило свое понятие вещей: пусть удаляются сейчас сайгаки, придет день урочный, все, что есть в саванне, никуда из нее не уйдет. Волчата же тем временем стали надоедать отцу, пытаясь растормошить угрюмца Ташчайнара.

А Акбара представила себе вдруг зимы начало, великую полупустыню, в один прекрасный день сплошь белую на рассвете от новоявленного снега, которому срок на земле день или полдня, но тот снег – сигнал волкам к большой охоте. С того дня охота на сайгаков станет главным делом в их житье. И грянет тот день! С туманцем понизовым, с морозным инеем на грустных белых чиях, на подогнувшихся от снега кустистых тамарисках и с дымным солнцем над саванной – волчица представила себе тот день так явственно, что вздрогнула невольно, как будто бы вдохнула нечаянно морозный

воздух, как будто бы ступила упругими подушечками лап, сомкнутыми в цветочные созвездия, на снежный наст и совершенно четко прочла сама и свои матерые следы, и следы волчат, уже подросших, окрепших и определивших свои наклонности, что можно было видеть уже по следам, и рядом самые крупные отпечатки – могучие соцветия с когтями, как с клювами, чуть выступающими из гнезд, – от лап Ташчайнара, они всех глубже и всех сильнее промнуты в снег, ибо Ташчайнар здоров, тяжеловат в подгрудке, он – сила, он молниеносный нож по глоткам антилоп, и всякая настигнутая сайга окрасит белый снег саванны током алой крови, как птица взмахом горячих красных крыльев, ради того, чтобы жила другая кровь, сокрытая в их серых шкурах, ибо их кровь живет за счет другой крови – так повелено началом всех начал, иного способа не будет, и тут никто не судия, поскольку нет ни правых, ни виноватых, виновен только тот, кто сотворил одну кровь для другой. (Лишь человеку дан иной удел: хлеб добывать в труде и мясо возвращать трудом – творить для самого себя природу.)

А те следы по первоснегу Моюнкумов – соцветия волчьи, большие и чуть поменьше, потянутся рядком в тумане понизовом и остановятся в подветренной лощине среди кустов – здесь волки подождут, осмотрятся, оставят тех, кому в засаде быть...

Но вот час вожделенный приближается – Акбара подкрадется, насколько можно подползти, пластаясь по снегу, прижимаясь к обледенелым травам, не дыша приблизится к пасущимся сайгакам так близко, что увидит их глаза, не всполошенные еще, и кинется затем внезапно, как тень, – и грянет звездный час волка! Акбара так живо представила себе ту первую облаву – урок молодняку, что взвизгнула невольно и едва удержалась на месте.

Ах как пойдет погоня по саванне перевозимней! Сайгачьи стада прочь понесутся стремглав, как от пожара, и белый снег вмиг прочертится черным земляным шрамом, и она, Акбара, за ними следом, идущая всех впереди, а за нею, почти впритык, ее волчата, молодые волки, все трое первенцев, ее потомство, что изначальное предназначение и явило на свет ради такой охоты, а за ними ее Ташчайнар, отец могучий, неукротимый в беге, преследующий лишь одну цель – загнать сайгаков так, чтобы погнать на засаду и тем преподнести урок охоты отпрыскам своим. Да, то будет неукротимый

бег! И в устремленности грядущей не столько сама добыча была желанна в тот час Акбаре, сколько то, чтобы поскорее охота состоялась, когда бы понеслись они в степной погоне подобно птицам быстроекрылым... В этом смысл ее волчьей жизни...

То были мечты волчицы, внушенные ее природой, кто знает, может быть, ниспосланные ей свыше, мечты, которым суждено будет позднее вспомниться горько, до боли в сердце, и сниться часто и безысходно... И будет вой волчицы как плата за те мечты. Ведь все мечты так: вначале рождаются в воображении, а затем по большей части терпят крушение за то, что посмели произрастать без корней, как иные цветы и деревья... И ведь все мечты так – и в том их трагическая необходимость в познании добра и зла...

### III

Зима вошла в Моюнкумы. Однажды уже выпадал снег, достаточно обильный для полупустыни, тот снег забелил ненадолго всю саванну, явившуюся самой себе в то утро белым безбрежным океаном с застывшими на бегу волнами, где есть где разгуляться ветру и перекаати-полю и где наконец установилась такая тишина, как в космосе, как в бесконечности, поскольку пески успели напитаться влаги, а увлажненные такыры смягчились, утратив свою жесткость... А перед этим над саванной прогоготали гусей осенних косяки, так высоко и звонко пролетали они в сторону Гималаев над Моюнкумскими степями, отправляясь с летовок от северных морей и рек на юг, к исконным водам Инда и Брахмапутры, что, будь у обитателей саванны крылья, все поддались бы зову. Но каждой твари свой рай предопределен... Даже степные коршуны, парившие на той высоте, и те лишь уклонялись в сторону...

А у Акбары к зиме волчата заметно поднялись и, утратив неразличимость детскости, все трое превратились в угловатых переростков, но уже каждый со своим нором. Понятно, волчица не могла дать им имена: раз Богом не определено, не переступишь, зато по запаху, что людям не дано, и по другим живым приметам она легко могла и отличить и звать к себе в отдельности любого из своего потомства. Так, у самого крупного из волчат был широкий, как у Ташчайнара, лоб, и воспринимался он потому как Большеголовый, а средний, тоже крупнячок, с длиннющими ногами-рычагами, которому быть бы со временем волком-загонщиком, тот воспринимался Быстроногим, а синеглазая, точь-в-точь как сама Акбара, и с белым пятном в паху, как у самой Акбары, игривая любимица Акбары значилась в ее сознании бессловесном Любимицей. То подрастал предмет раздора и смертельных схваток среди самцов, едва придет ее любовная пора...

А первый снег, выпавший незаметно за ночь, тем ранним утром был праздником нечаянным для всех. Вначале волчата-переростки оробели было от запаха и вида незнакомого вещества, преобразившего всю местность вокруг логова, а потом понравилась им прохладная

отрада, и закрутились, забегали вокруг наперегонки, барахтались в снегу, фыркали и взлаивали от удовольствия. Так начиналась та зима для первенцев, в конце которой им предстояло расстаться с волчицей-матерью, волком-отцом и друг с другом, расстаться для новой жизни каждого из них.

К вечеру снег еще подсыпал, и на другое утро еще до восхода солнца в степи было уже светло и прозрачно, как днем. Покой и тишина разлились всюду, и острый голод по-зимнему дал о себе знать. Волчья стая прислушивалась к округе – пора было на промысел, добывать прокорм. Акбара ждала для облавы на сайгаков сообщников из других стай. Пока что никто не дал об этом знать. Все слушали и ждали тех сигналов. Вот Большеголовый сидит в нетерпеливом напряжении, еще не ведая, какие тяготы несет охота, вот Быстроногий тоже наготове, а вот Любимица – глядит в синие глаза волчицы преданно и смело, а рядом прохаживается отец семейства – Ташчайнар. И все ждали, как повелит Акбара. Но был над ними еще верховный царь – царь Голод, царь утоления плоти.

Акбара встала с места и двинулась трусцой, ждать дальше было некогда. И все последовали за ней.

Все начиналось примерно так, как грезилось волчице, когда волчата были еще малы. И вот то время наступило – самая пора для групповых облав в степи. Пройдет еще немного времени, и с холодами одинокие волки сколотятся в волчьи артели и до конца зимы будут промышлять сообща.

Тем временем Акбара и Ташчайнар уже вели своих перворожденных на испытание, на первую для них великую охоту на сайгаков.

Волки шли, прилаживаясь к степи, то шагом, то трусцой, печатая на том нетронutom снегу цветы следов звериных как знаки силы и сплоченной воли, где пригибаясь шли среди кустов, а где скользили, как тени. И все теперь зависело от них самих и от удачи...

Акбара походя взбежала на один пригорок, чтобы оглядеться, и замерла, вглядываясь в дали синими глазами и запахи ветра перебирая нюхом. Великая саванна пробуждалась, насколько хватало глаз, в тумане легко виднелись стада сайгаков – то были крупные скопления поголовья с молодняком-годовиком, который отделялся в ту пору в



новые стада. Тот год был приплодным для сайгаков, стало быть, благоприятным и для волков.

Волчица задержалась на том взлобке, поросшем чиём, чуть подольше: требовалось сделать выбор наверняка – определить по ветру, куда, в какую сторону податься, чтобы безошибочно начать охоту.

И именно в тот момент послышался вдруг странный гул откуда-то со стороны и сверху, какое-то гудение пошло над степью, но вовсе не похожее на громыхание грозы. Тот звук был совершенно незнаком, и он все рос и рос так, что и Ташчайнар не удержался и тоже выскочил наверх к волчице, и оба попятились от страха: на небе что-то происходило, там появилась какая-то невиданная птица, чудовищно грохочущая, она чуть кособоко летела над саванной, едва не зарываясь носом, а за ней на отдалении летела еще одна такая же махина. Затем они удалились, и постепенно шум затих. То были вертолеты.

Итак, два вертолета пересекли небо Моюнкумов, как рыбы, не оставляющие следов в воде. Однако ни наверху, ни внизу ничто не изменилось, если не считать того факта, что то была разведка с воздуха, что в эфир в тот час шли открытым текстом радиосообщения пилотов о том, что они видели и где, в каких квадратах, какие есть подъездные пути по Моюнкумам для вездеходов и прицепных грузовиков...

А волки, что ж, какой с них спрос, пережив сиюминутное смятение, они вскоре забыли о вертолетах и снова затрусили по степи к сайгачьим урочищам, не ведая ни сном ни духом, поскольку им то не дано, что все они, все обитатели саванны, уже замечены, уже отмечены на картах в пронумерованных квадратах и обречены на массовый отстрел, что их гибель уже спланирована, и скоординирована, и уже катится к ним на многочисленных моторах и колесах...

Откуда было знать им, степным волкам, что их исконная добыча – сайгаки – нужна для пополнения плана мясосдачи, что ситуация в конце последнего квартала «определяющего года» сложилась для области весьма нервная – «не выходили с пятилеткой» и кто-то разбитной из облуправления вдруг предложил «задействовать» мясные ресурсы Моюнкумов: идея же сводилась к тому, что важно не только производство мяса, а фактическая мясосдача, что это единственный выход не ударить лицом в грязь перед народом и перед

взыскательными органами свыше. Откуда было знать им, степным волкам, что из центров в области шли звонки; требование момента – хоть из-под земли, но дать план мясосдачи, хватит тянуть: год, завершающий пятилетку, что скажем мы народу, где план, где мясо, где выполнение обязательств?

«План будет непременно, – отвечало облуправление, – в ближайшую декаду. Есть дополнительные резервы на местах, поднажмем, потребуем...»

А степные волки тем часом, ничего не подозревая, старательно подкрадывались окольными путями к заветной цели, ведомые все той же волчицей Акбарой, бесшумно ступая по мягкому снегу, приблизились к последнему рубежу перед атакой, к высоким комлям чиев и затерялись среди них, напоминая такие же буроватые кочки. Отсюда Акбариным волкам все было видно как на ладони. Бессчетное стадо степных антилоп – все как на подбор одной от сотворения мира масти, белобокие, с каштановым хребтом, – паслось, пока не ведая опасности, в широкой тамарисковой долине, жадно поедая подножный ковыль со свежим снегом. Акбара пока еще выжидала, необходимо было выждать, чтобы перед броском собраться с духом, и всем разом выскочить из укрытия, и с ходу кинуться в погоню, а уж тогда облава сама подскажет маневр. Молодые волки от нетерпения судорожно подергивали хвостами и ставили уши торчком, вскипала кровь и у сдержанного Ташчайнара, готового вонзить клыки в наступившую жертву, но Акбара, пряча пламень в глазах, не давала пока знака к рывку, ждала наиболее верного момента – только тогда можно было рассчитывать на успех: сайгаки в один миг берут такой разбег, который немислим ни для одного зверя. Надо было уловить этот момент.

И тут поистине, точно гром с неба, снова появились те вертолеты. В этот раз они летели слишком скоро и сразу пошли угрожающе низко над всполошившимся поголовьем сайгаков, дико кинувшихся вскачь прочь от чудовищной напасти. Это произошло круто и ошеломительно быстро – не одна сотня перепуганных антилоп, обезумев, потеряв вожakov и ориентацию, поддалась беспорядочной панике, ибо не могли эти безобидные животные противостоять летной технике. А вертолетам точно только того и надо было: прижимая бегущее стадо к земле и обгоняя его, они столкнули его с другим таким же многочисленным поголовьем сайгаков, оказавшимся по соседству, и,

вовлекая все новые и новые встречные стада в это моюнкумское светопреставление, сбивали с толку панически бегущую массу степных антилоп, что еще больше усугубило бедствие, обрушившееся на парнокопытных обитателей никогда ничего подобного не знавшей саванны. И не только парнокопытные, но и волки, их неразлучные спутники и вечные враги, оказались в таком же положении.

Когда на глазах Акбары и ее стаи случилось это жуткое нападение вертолетов, волки сначала притаились, от страха вжимаясь в корневища чиев, но затем не выдержали и бросились наутек от проклятого места. Волкам надо было исчезнуть, унести ноги, двинуться куда-нибудь в безопасное место, однако именно этому не суждено было осуществиться. Не успели они отбежать подальше, как послышалось содрогание и гудение земли, как в бурю, – неисчислимая сайгачья масса, гонимая по степи вертолетами в нужном им направлении, со страшной скоростью катилась вслед за ними. Волки, не успев ни свернуть, ни притаиться, оказались на пути живого всесокрушающего потока громадного, набегающего, точно туча, поголовья. И если бы они на секунду приостановились, то неминуемо были бы растоптаны и раздавлены под копытами сайгаков, настолько стремительна была скорость этой плотной, потерявшей всякий контроль над собой животной стихии. И только потому, что волки не сбавили шагу, а, наоборот, в страхе припустили еще сильнее, они остались в живых. И теперь уже они сами оказались в плену, в гуще этого великого бегства, невероятного и немыслимого, – если вдуматься, ведь волки спасались вместе со своими жертвами, которых они только что готовы были растерзать и растащить по кускам, теперь же они уходили от общей опасности бок о бок с сайгаками, теперь они были равны перед лицом безжалостного оборота судьбы. Такого, чтобы волки и сайгаки бежали в одной куче, Моюнкумская саванна не видывала даже при больших степных пожарах.

Несколько раз Акбара пыталась выскочить из потока бегущих, но это оказалось невозможным – она рисковала быть растоптанной мчащимися бок о бок сотнями антилоп. В этом бешеном убийственном галопе Акбары волки пока еще держались кучно, и Акбара пока еще могла видеть их краем глаза: вот они среди антилоп, распластавшись, ускоряют бег, ее первые отпрыски, выкатив от ужаса глаза, вот Большеголовый, вот Быстроногий, и едва поспевают, все больше

слабея, Любимица, а вместе с ними и он обращен в панический бег – гроза Моюнкумов, ее Ташчайнар. Разве об этом мечталось синеглазой волчице, а теперь вместо великой охоты они бегут в стаде сайгаков, бессильные что-либо предпринять, уносимые сайгаками, как щепки в реке... Первой сгинула Любимица. Упала под ноги стада, только визг раздавался, заглушенный мгновенно топотом тысяч копыт...

А вертолеты-облавщики, идя с двух краев поголовья, общались по радию, координировали, следили, чтобы оно не разбежалось по сторонам, чтобы не пришлось снова гоняться по саванне за стадами, и все больше нагнетали страху, принуждая сайгаков бежать тем сильнее, чем сильнее они бежали. В шлемофонах хрипели возбужденные голоса облавщиков: «Двадцатый, слушай, двадцатый! А ну поддай жару! Еще поддай!» Им, вертолетчикам, сверху было прекрасно видно, как по степи, по белой снежной пороше катилась сплошная черная река дикого ужаса. И в ответ раздавался бодрый голос в наушниках: «Есть поддать! Ха-ха-ха, глянь-ка, а среди них и волки бегут! Вот это дело! Попались серые! Крышка, братишки! Это вам не «Ну, погоди!».

Так они гнали облаву на измор, как и было рассчитано, и расчет был точный.

И когда гонимые антилопы хлынули на большую равнину, их встретили те, для которых старались с утра вертолеты. Их поджидали охотники, а вернее, расстрельщики. На вездеходах-«уазиках» с открытым верхом расстрельщики погнали сайгаков дальше, расстреливая их на ходу из автоматов, в упор, без прицела, косили как будто сено на огороде. А за ними двинулись грузовые прицепы – бросали трофеи один за одним в кузова, и люди собирали дармовой урожай. Дюжие парни, не мешкая, быстро освоили новое дело, прикалывали недобитых сайгаков, гонялись за ранеными и тоже приканчивали, но главная их задача заключалась в том, чтобы раскатать окровавленные туши за ноги и одним махом перекинуть за борт! Саванна платила богам кровавую дань за то, что смела оставаться саванной, – в кузовах вздымались горы сайгачьих туш.

А побоище длилось. Врезаясь на машинах в гущу загнанных, уже выбивающихся из сил сайгаков, отстрельщики валили животных направо и налево, еще больше нагнетая панику и отчаяние. Страх достиг таких апокалипсических размеров, что волчице Акбаре, оглохшей от выстрелов, казалось, что весь мир оглох и онемел, что

езде воцарился хаос и само солнце, беззвучно пылающее над головой, тоже гонимо вместе с ними в этой бешеной облаве, что оно тоже мечется и ищет спасения и что даже вертолеты вдруг онемели и уже без грохота и свиста беззвучно кружатся над уходящей в бездну степью, подобно гигантским безмолвным коршунам... А отстрельщики-автоматчики беззвучно палили с колена, с бортов «уазиков», и беззвучно мчались, взлетая над землей, машины, беззвучно неслись обезумевшие сайгаки и беззвучно валялись под прошивающими их пулями, обливаясь кровью... И в этом апокалипсическом безмолвии волчице Акбаре явилось лицо человека. Явилось так близко и так страшно, с такой четкостью, что она ужаснулась и чуть не попала под колеса. «Уазик» же мчался бок о бок, рядом. А тот человек сидел впереди, высунувшись по пояс из машины. Он был в стеклянных защитных от ветра наглазниках, с иссиня-багровым, исхлестанным ветром лицом, у черного рта он держал микрофон и, привскакивая с места, что-то орал на всю степь, но слов его не было слышно. Должно быть, он командовал облавой, и если бы в тот момент волчица могла услышать шумы и голоса и если бы она понимала человеческую речь, то услышала бы, что он кричал по радиации: «Стреляйте по краям! Бейте по краям! Не стреляйте в середину, потопчут, чтоб вас!» Боялся, что туши убитых сайгаков будут истоптаны бегущим следом поголовьем...

И тут человек с микрофоном заметил вдруг, что рядом, чуть не бок о бок с машиной среди спасающихся бегством антилоп скачет волк, а за ним еще несколько волков. Он дернулся, что-то заорал хрипло и злорадно, бросил микрофон и выхватил винтовку, перекидывая ее на руку и одновременно перезаряжая. Акбара ничего не могла поделать, она не понимала, что человек в стеклянных наглазниках целится в нее, а если бы и понимала, все равно ничего не смогла бы предпринять – скованная облавой, она не могла ни увильнуть, ни остановиться, а человек все целился, и это спасло Акбару. Что-то резко ударило под ноги, волчица перекувырнулась, но тут же вскочила, чтобы не быть растоптанной, и в следующее мгновение увидела, как высоко взлетел в воздух подстреленный на бегу ее Большеголовый, самый крупный из ее первенцев, как он, обливаясь кровью, медленно падал вниз, медленно перекидываясь на бок, вытягивался, суча лапами, возможно, исторгнул крик боли,

возможно, предсмертный вопль, но она ничего не слышала, а человек в стеклянных наглазниках торжествующе потрясал винтовкой над головой, и в следующее мгновение Акбара уже перескочила через бездыханное тело Большеголового, и тут вновь ворвались в ее сознание звуки реального мира – голоса, шум облавы, несмолкающий грохот выстрелов, пронзительные гудки автомашин, крики и вопли людей, хрип агонизирующих антилоп, гул вертолетов над головой... Многие сайгаки падали с ног и оставались лежать, били копытами, не в силах двигаться, задыхались от удушья и разрыва сердца. Их прирезали на месте подборщики туш, наотмашь полоснув по горлу, и, раскачав за ноги, судорожно дергающихся, полуживых кидали в кузова грузовиков. Страшно было смотреть на этих людей в облитой кровью с головы до ног одежде...

Если бы с небесных высей некое бдительное око глядело на мир, оно наверняка увидело бы, как происходила облава и чем она обернулась для Моюнкумской саванны, но и ему, пожалуй, не дано было знать, что из этого последует и что еще замышляется...

Облава в Моюнкумах кончилась лишь к вечеру, когда все – и гонимые и гонители – выбились из сил и в степи стало смеркаться. Предполагалось, что на другой день с утра вертолеты, заправившись, вернутся с базы и облава возобновится; предполагалось, что такой работы здесь хватит еще дня на три, на четыре, если верить тому, что в западной, самой песчаной части Моюнкумских степей находится, по предварительному вертолетно-воздушному обследованию, еще много непуганых сайгачьих стад, официально именуемых невоскрытыми резервами края. А поскольку существовали невоскрытые резервы, из этого неминуемо вытекала необходимость скорейшего вовлечения в плановый оборот упомянутых резервов в интересах края. Таково было сугубо официальное обоснование моюнкумского «похода». Но, как известно, за всякими официальными заключениями всегда стоят те или иные жизненные обстоятельства, определяющие ход истории. А обстоятельства – это в конечном счете люди, с их побуждениями и страстями, пороками и добродетелями, с их непредсказуемыми метаниями и противоречиями. В этом смысле моюнкумская трагедия тоже не была исключением. В ту ночь в саванне находились люди – вольные или невольные исполнители этого злодеяния.

А волчица Акбара и ее волк Ташчайнар, уцелевшие из всей стаи, трусили впотьмах по степи, пытаясь удалиться как можно дальше от мест облавы. Передвигаться им было трудно – вся шерсть на подбрюшине, в промежностях и почти до крестца промокла от грязи и слякоти. Израненные, избитые ноги горели, как обожженные, каждое прикосновение к земле причиняло боль. Больше всего им хотелось вернуться в привычное логово, забыться и забыть, что обрушилось на их бедовые головы.

Но и тут им не повезло. Уже на подходе к логову они неожиданно наткнулись на людей. С края родной ложбины, вклинившись в низенькую, ниже колес, тамарисковую рощицу, возвышалась громада грузовой автомашины. В темноте возле грузовика слышались человеческие голоса. Волки немного постояли и молча повернули в открытую степь. И почему-то именно в этот момент, прорезая тьму, мощно вспыхнули фары. И хотя они светили в противоположную сторону, этого оказалось достаточно. Волки припустили, прихрамывая и прискакивая, и понеслись куда глаза глядят. Акбара особенно тяжело припадала на передние лапы... Чтобы перетруженные ноги остужались, она выбирала места, где уцелел утренний снег. Печально и горько тянулись по снегу скомканные цветы ее следов. Волчата погибли. Позади осталось недоступное теперь логово. Там теперь были люди...

Их было шестеро, шестеро вместе с водителем Кепой, шестеро сведенных случаем людей, подборщиков битой дичи, заночевавших в тот день в саванне, с тем чтобы с утра пораньше приняться за дело, оказавшееся столь выгодным – полтинник за штуку. Хоть и набили они уже три кузова, далеко не всех пристреленных и задавленных в облаве сайгаков удалось собрать засветло. Наутро предстояло найти оставшихся, побросать их за борт для отправки и перегрузки на прицепной транспорт, который увозил добычу под брезентами из зоны Моюнкумов.

В тот вечер очень рано выкатилась над горизонтом луна, достигшая полной округлости и отовсюду видимая в блеклой, местами еще приснеженной степи. Лунный свет то высветлял, то затенял деревца, овраги, взлобки саванны. Но резкий силуэт огромной грузовой машины, столь непривычной в этих безлюдных местах, долго

еще нагонял страху на волков: оглянувшись назад, они всякий раз поджимали хвосты и прибавляли ходу. И тем не менее они останавливались и снова вглядывались напряженно, как бы пытаясь проникнуть в суть происходящего, – что делают люди на месте их старого логова, почему они там остановились и долго ли еще будет стоять там эта громадная, пугающая их машина. То был, кстати, «МАЗ» – вездеход военного исполнения, с брезентовым верхом, с колесами столь мощными, что им, казалось, еще сто лет не будет износа. В кузове машины среди десятка битых сайгачьих туш, оставленных для отправки на завтра, лежал человек, руки его были связаны, точно его взяли в плен. Он чувствовал, как все больше остывают и затвердевают лежащие рядом туши сайгаков. И все-таки их шкуры согревали его, а иначе ему пришлось бы худо. В проеме брезентового шатра над кузовом виднелась луна, он смотрел на большую луну, как в пустоту, на его бледном лице было написано страдание.

Теперь участь его зависела от людей, вместе с которыми он прибыл сюда, как полагали они, подобно им подзаработать на моюнкумской облове...

Трудно установить, что такое людская жизнь. Во всяком случае, бесконечные комбинации всевозможных человеческих отношений, всевозможных характеров настолько сложны, что никакой сверхсовременной компьютерной системе не под силу синтезировать общую кривую самых обычных человеческих натур. И эти шестеро, а точнее пятеро, поскольку шофер вездехода Кепа, приданный им как водитель, был сам по себе, к тому же он единственный среди них был человеком семейным, хотя, по сути, очень даже близким по духу, неотличимым от других, – словом, эти шестеро могли служить примером тому, что бывают и противоположные случаи, когда можно обойтись и без компьютерного интегрирования, а также и тому, что пути господни неисповедимы, когда речь идет о пусть даже самом пустяковом коллективе людей. Значит, так было угодно Господу, чтобы все они оказались людьми поразительно однозначными. По крайней мере, когда они только выехали в Моюнкумы...

Прежде всего это были люди бездомные, перекаати-поле, кроме, разумеется, Кепы: у троих из них ушли жены, все они были в той или иной степени неудачниками, а следовательно, были по большей части



озлоблены на мир. Исключением мог считаться разве что самый молодой из них со странным, ветхозаветным именем Авдий – упоминался такой в Библии в Третьей Книге Царств, – сын дьякона откуда-то из-под Пскова, поступивший после смерти отца в духовную семинарию как подающий надежды отпрыск церковного служителя и через два года изгнанный оттуда за ересь. И теперь он лежал в кузове «МАЗа» со связанными руками в ожидании расплаты за попытку, по определению самого Обера, бунта на корабле.

Все они, за исключением Авдия, были завзятыми или, как они еще величали себя, профессиональными алкоголиками. Опять же вряд ли в их число входил Кепа, как-никак права водительские приходилось беречь, не то жена бы ему глаза повыцарапала, но в Моюнкумах в ту ночь он таки крепко поддал, не хуже, чем другие, а под сомнением в этом смысле опять же оказался Авдий-Авдюха – ему-то что, скитальцу, ан нет, тоже заартачился, не стал пить, чем вызвал еще бóльшую ненависть Обера.

Обер – так для краткости велел он именовать себя подчиненным ему подборщикам туш, имея в виду, наверно, что слово это означало старший, а он и в самом деле до разжалования был старшиной дисциплинарного батальона. Когда его разжаловали, доброжелатели сокрушались, что он-де погорел за служебное усердие, так же считал и он сам, глубоко задетый в душе несправедливостью начальства, однако о подлинной причине изгнания своего из армии предпочитал не распространяться. Да и ни к чему это было, дело прошлое. В действительности фамилия Обера была Кандалов, а изначально, возможно, и Хандалов, но это никого не волновало – Обер он и есть обер в полном смысле этого слова.

Вторым лицом в этой хунте – а хунтой они окрестили свою команду с общего согласия, – единственным, кто слабо возразил, был Гамлет-Галкин, бывший артист областного драматического театра: «Ну ее к шутам, хунту, не люблю я, ребята, хунты. Мы ведь отправляемся на сафари, пусть мы будем сафарой!» – но к его предложению никто не присоединился, возможно, малопонятная «сафара» проигрывала на фоне энергичной «хунты», – так вот вторым лицом хунты оказался некто Мишаш, а если полностью – Мишка-Шабашник, тип, надо сказать, бычьей свирепости, который мог послать куда подальше даже самого Обера. Привычка Мишаша

приговаривать по каждому поводу «бля» была для него что вдох, что выдох. Идею связать и бросить Авдия в кузов машины подал именно он. Что и было незамедлительно проделано хунтой.

Самое скромное место в этой хунте занимал артист Гамлет-Галкин, спившийся, преждевременно сошедший со сцепы и перебивавшийся случайными заработками, а тут как раз подвернулась такая пожива – кидай за ноги в кузов каких-то то ли антилоп, то ли сайгаков, какая ему разница, и получай столько, сколько за месяц не заработаешь, и вдобавок еще премию от Обера, хоть и за счет отчислений от всего подряда, – ящик водки на всю братию. И наконец, самый покладистый и безобидный среди них – местный малый из ближайших моюнкумских окрестностей Узюкбай, или попросту – Абориген. Абориген-Узюкбай, что в нем было бесценно, был начисто лишен самолюбия, все, что ни скажи ему, на все согласен и за бутылку водки готов двинуть хоть на Северный полюс. Краткая история Аборигена-Узюкбая сводилась к следующему. Прежде был трактористом, потом стал беспробудно пить, бросил трактор среди ночи на проезжей дороге, врезалась в него проходившая машина, погиб человек. Узюкбай отсидел пару лет, жена с детьми тем временем от него ушла, и он очутился в городе в качестве неучтенной рабсилы, подвизался грузчиком в продмаге, выпивал в подъездах, где и обнаружил его сам Обер, и Узюкбай последовал за ним без оглядки, да и не на что ему было оглядываться... Оберу-Кандалову нельзя было отказать – он действительно обладал социально ориентированным нюхом...

Вот так и сошлись они во главе с Обером-Кандаловым, и вот так на волне облавы объявились в Моюнкумской саванне...

И если говорить о судьбе и о судьбах, о разного рода житейских обстоятельствах, предопределяющих события, то, видит Бог, у Обера-Кандалова не было бы никаких забот с неудавшимся семинаристом Авдием, если бы тому довелось в свое время доучиться и дослужиться до рукоположения в соответствующий сан. Кстати, бывшие однокашники Авдия по семинарии, когда-то такие же легкомысленные, как и все ученики, выбрав однажды жизненный путь, оказались куда устойчивей, а самое главное – благоразумней, чем Авдий, сын покойного дьякона, и уже успешно продвигались после завершения духовного образования по ступеням церковной карьеры. Будь в их

числе и Авдий – а поначалу он значился среди наиболее высокоодаренных, любимых отцами богословами юношей, – тогда Оберу-Кандалову и Авдию вряд ли пришлось встретиться, хотя бы потому, что Обер-Кандалов искренне считал попов недоразумением времени и никогда в жизни не переступал церковного порога даже из любопытства.

Если бы да кабы... Однако кто мог знать, что такое произойдет. Если бы знать наперед... Но кто у кого просит заполнить анкету, когда вербует на один выезд – отправиться за компанию подзаработать. Это же все равно что поехать с коллективом на картошку. Разве что вместо клубней предстояло собирать убитых на облаве животных... Знал бы Обер-Кандалов, что повстречавшийся ему на вокзале скиталец Авдий чокнутый, ненормальный, не пришлось бы ему в моюнкумских песках ломать себе голову, как с ним поступить, куда его девать, как избавиться без вреда для себя от этого дикого Авдия, едва не сорвавшего все то, что он устраивал с таким усердием, посредством чего надеялся реабилитировать свое прошлое. Кто бы мог подумать, что таким странным, невероятным, причем глупым образом все свяжется в один узел. От этих мыслей Оберу-Кандалову очень хотелось выпить, что называется, ударить по-черному, а он здорово это умел – полстакана залпом, потом еще и еще полстакана, оглушить, взвинтить себя так, чтобы никаких тебе преград, чтобы полностью сознание отшибить... и тогда дать по мозгам... Но и этого он боялся, потому что знал, как тяжело будет потом...

И откуда он взялся, этот Авдий, на его голову! И опять, если говорить о судьбе и судьбах, о разного рода жизненных обстоятельствах, предопределяющих причины других событий, то все это завязывалось задолго до этого и вдали отсюда...

Изгнанный из духовной семинарии как еретик-новомысленник, Авдий работал в ту пору внештатным сотрудником областной комсомольской газеты. Редакция газеты была заинтересована в нем, в недавнем семинаристе, недурно пишущем на любимые читателями темы. Преданный церковью анафеме, он был выгоден для наглядной антирелигиозной пропаганды. Несостоявшегося семинариста, в свою очередь, заинтересовала возможность выступать в молодежной печати на близкие ему морально-нравственные темы. Пропускаемые при этом на страницы газеты его несколько непривычные размышления

безусловно привлекали читателей, и не только молодых, особенно на фоне заунывно-дидактических призывов и социальных заклинаний, захлестнувших областную печать. И пока вроде бы взаимные интересы соблюдались, но мало кто знал, а вернее, за исключением одной души, никто не знал, какие помыслы вынашивал этот молодой, да ранний обновленец. Авдий Каллистратов надеялся со временем, с упрочением своего журналистского имени, найти некую приемлемую форму, некую пограничную идеологическую полосу, позволившую бы ему высказывать столь актуальные и столь жизненно важные, по его убеждению, новомысленнические представления о Боге и человеке в современную эпоху в противовес догматическим постулатам архаичного вероучения. Вся смехотворность заключалась в том, что перед ним стояли две абсолютно неприступные и несокрушимые крепости, сила которых зиждется на их обоюдной незыблемости и тотальной взаимонеприемлемости: с одной стороны – неподвластные времени, тысячелетние неизменные пасхальные концепции, ревностно оберегающие чистоту вероучения от каких бы то ни было, пусть даже благонамеренных новомыслей, и с другой стороны – в корне отвергающая религию как таковую могучая логика научного атеизма. А он, несчастный, между ними был все равно как между жерновами. И, однако, в нем горел свой огонь. Обуреваемый собственными идеями «развития во времени категории Бога в зависимости от исторического развития человечества», еретик Авдий Каллистратов надеялся, что рано или поздно судьба предоставит ему возможность приоткрыть людям суть своих умозаключений, ибо, как он полагал, все идет к тому, что людям и самим захочется узнать о своих отношениях с Богом в постиндустриальную эпоху, когда могущество человека достигнет наикритической фазы. Умозаключения Авдия носили пока не устоявшийся, дискуссионный характер, но и такой свободы мысли официальное богословие не простило ему, и, когда он отказался покаяться в ереси новомыслия, чины епархии изгнали его из духовной семинарии.

У Авдия Каллистратова было бледное высокое чело; как многие люди его поколения, он носил волосы до плеч и отпустил плотную каштановую бородку, что, впрочем, если и не очень украшало, зато придавало его лицу благостное выражение. Серые навывкате глаза его лихорадочно поблескивали, в них выражался непокой духа и мысли,

который был присущ его натуре, что приносило ему великую отраду от собственных постижений, а также многие тяжкие страдания от окружающих людей, к которым он шел с добром...

Ходил Авдий большей частью в клетчатых рубашках, в свитере и джинсах, в холод натягивал пальтецо и старую меховую шапку, еще отцовскую. Таким он и появился в Моюнкумской саванне...

И то, что он валялся в тот час связанный в кузове машины, наводило его на разные горькие мысли. Но острее всего он чувствовал в этот раз свое одиночество. Ему припомнилось полузабытое изречение какого-то восточного поэта: «И среди тысячной толпы – ты одинок, и находясь с собой наедине – ты одинок». И тем горше и мучительнее думалось ему о ней, о той, которая с некоторых пор стала самым близким существом на свете, постоянно сопутствующим ему в мыслях, как ипостась его собственной сути, и в этот час он не мог отделить ее от себя, не мог не обращать к ней свои чувства и переживания, и, если действительно существует телепатия как сверхчувственное общение близких натур в особо напряженном состоянии, она непременно должна была в ту ночь испытывать странное томление духа и предощущение беды...

Теперь ему наконец открылась справедливость парадоксальных слов все того же восточного поэта, над которыми он прежде посмеивался, не верил, что можно утверждать: «Пусть не полюбится тому, кто истинно любить предрасположен...» Что за чушь! А теперь он тихо плакал, думая о ней, сознавая, что, не зная он о ее существовании, не любил ее так затаенно и отчаянно, как собственную жизнь перед смертью, не было бы этой неутраченной боли, этой тоски, этого необоримого, безумного и мучительного желания немедленно, тотчас же вырваться, освободиться и бежать к ней среди ночи через саванну на ту затерянную в трансконтинентальной протяженности железной дороги станцию Жалпак-Саз, чтобы очутиться, как и тогда, хоть на полчаса, возле ее дверей, в том прибольничном домике на границе великих пустынь, в котором она живет... Но, не в силах освободиться, Авдий проклинал свою, возможно, и ненужную ей преданность: ведь именно ради нее он вернулся, приехал во второй раз в эти азиатские края, очутился здесь, в Моюнкумах, где и лежал теперь связанный, оскорбленный и униженный. Но его чувства к ней были тем острее, чем неосуществимей было желание видеть ее, тем

мучительнее было сознание одиночества, и чувства эти открывали ему вместе с тем и всю благодать слияния с Богом, ибо теперь ему открылось, что Бог, являя себя через любовь, дарует тем самым человеку наивысшее счастье бытия, и щедрость Бога тут бесконечна, как бесконечно течение времени, а предназначение любви неповторимо в каждом случае и в каждом человеке...

– Слава Всевышнему! – прошептал он, глядя на луну, и подумал: «Если бы она знала, как велика Божья милость, когда он вселяет в сердце любовь...»

И тут возле машины раздались шаги, и кто-то, сопя и рыгая, полез в кузов. То был Мишаш, а вслед за ним показалась и голова Кепа. Кажется, они уже успели поддаться – резко шибануло в нос водкой.

– Ты что, бля, лежишь? А ну давай поднимайся, сука-поп, Обер требует тебя на ковер, перевоспитывать будет, – говорил Мишаш, как медведь в берлоге, продвигаясь через сайгачьи туши в машине.

Кепа, хихикая, в свою очередь добавил:

– Ковра не будет, на собственной заднице, на землице моюнкумской посидишь.

– Ковер ему еще, – пробасил Мишаш, отрывивая, – да за такое дело, бля, в Сибирь! Охмурить нас задумал, чуть ли не монахами решил сделать, да не на тех, бля, нарвался!

## IV

За это время Авдий Каллистратов отправил Инге Федоровне несколько писем на станцию Жалпак-Саз, и она отвечала ему до востребования на городскую почту, ибо к тому времени постоянного адреса у него уже не было. Матери он лишился еще в детстве, и отец его, дьякон Каллистратов, оставшись вдовцом, тратил всю свою доброту и немалую начитанность, и богословскую и светскую, на сына и дочь, что была старше Авдия на три года. Сестра Авдия, Варвара, уехала учиться в Ленинград, хотела поступить в педагогический институт, но ее там не приняли как дочь служителя культа, поскольку это открыло бы ей доступ к школьному обучению, и тогда она прошла по конкурсу в политехнический да так и осела в Ленинграде, вышла замуж, обзавелась семьей и работала сейчас чертежницей в каком-то проектом институте. Авдию же дорога лежала в духовную сферу, этого хотел он сам, и этого очень хотел отец, особенно после истории с поступлением в пединститут дочери Варвары. Когда Авдий начал учиться в семинарии, дьякон Каллистратов ходил счастливый и гордый, он радовался тому, что мечта его сбылась, что не напрасны были его труды и внушения, что Господь внял его мольбам. Вскоре, однако, он умер, и, возможно, в том была милость судьбы, ибо он не перенес бы той еретической метаморфозы, которая случилась с его сыном Авдием, увлекшимся новомыслием на поприще вечного, как мир, богословия – учения, данного раз и навсегда в бесконечности и неизменности божественной силы.

А когда Авдий Каллистратов стал сотрудничать в областной молодежной газете, та небольшая квартирка, в которой дьякон Каллистратов прожил с семьей многие годы, была затребована для вновь назначенного служителя Церкви, а бывшему семинаристу Авдию Каллистратову предложили освободить ее как лицу, не имеющему никакого отношения к Церкви.

Авдий вызвал в связи с этим сестру Варвару, чтобы она по своему усмотрению увезла в Ленинград нужные ей родительские вещи, в основном старинные иконы и картины, как память и наследство. Себе Авдий оставил отцовские книги. То была последняя встреча брата и

сестры – у каждого была своя планида. Больше они не виделись, отношения их были вполне нормальные, но жизненные пути разные. С тех пор Авдий жил на частных квартирах, сначала в отдельных комнатах, потом в углах, так как отдельные комнаты стали ему не по карману. Оттого-то и письма писались ему до востребования.

И именно в этот период наметилась первая поездка Авдия Каллистратова в Среднюю Азию от редакции областной комсомольской газеты. Непосредственным поводом к тому послужила идея Авдия изучить и описать пути и способы проникновения в молодежную среду европейских районов страны наркотического средства – анаши, растения, произрастающего в Средней Азии, Чуйских и Примоюнкусских степях. Анаша – родная сестра знаменитой марихуаны, особый вид дикой южной конопли, содержащей в листьях и особенно в соцветиях и пыльце сильнодействующие одурманивающие вещества, вызывающие при курении эйфорию, иллюзию блаженства, а с увеличением дозы фазу угнетения и вслед за этим агрессивность – форму невменяемости, опасную для окружающих.

Историю этой поездки Авдий Каллистратов подробно описал в своих путевых очерках, описал он, и как неожиданно столкнулся в степи с волчьим семейством, описал все пережитое – с болью и тревогой, как очевидец, как гражданин, озабоченный распространением одурманивающего зелья. Но публикация очерков, вначале принятых в редакции на «ура», задержалась, а затем и вовсе остановилась.

Обо всех своих неудачах и переживаниях Авдий Каллистратов и писал Инге Федоровне, которую он считал даром судьбы, самым близким себе человеком, – ведь она, подобно реке, оживляла и воскрешала его для повседневного бытия. Вскоре он понял, что переписка с Ингой Федоровной – главное событие в его жизни и, возможно, то самое предназначение, которое оправдывает его существование.

Отправив ей письмо, он затем жил этим, заново восстанавливая в памяти все написанное и как бы комментируя себя. То была странная форма общения на расстоянии – непрерывное излучение во времени и пространстве его страждущей души.



«...Потом я думал много дней, не шокировали ли Вас начальные слова моего письма: «Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа!» Я их привел, будучи воспитанным в этих традициях, они всегда служат мне камертоном перед серьезным разговором, настраивая на молитвенное состояние духа, и я не стал изменять этому правилу, хотя я и лишний раз напомню Вам о своем происхождении из духовного сословия и семинаристском прошлом. Мое отношение к Вам не позволяет мне умалчивать о каких бы то ни было обстоятельствах, касающихся меня.

И еще думалось о том, что пишу на «Вы», а, расставаясь, мы были уже на «ты». Простите, но что-то произошло со мной, хотя я так недолго вдалеке от Вас. Впрочем, все чудачки пытаются найти себе какое-нибудь нелепое оправдание. Но это к слову. Позвольте все же на расстоянии обращаться к Вам на «Вы». Так я чувствую себя гораздо удобнее. А если нам суждено будет встретиться, о чем отныне мои затаенные и оттого особо сокровенные мечты (эти мечты мне как дети, я их возвращаю и не могу без них, представляю, какое счастье любить своих детей, если любить их, как мечту), а мечты эти родились как устремление духа к Божественному совершенству, вечно притягательному и бесконечному, так вот благодаря этим мечтам я, сам того не подозревая, противостою угрозе небытия, возможно, потому, что любовь – антитеза смерти, она потому и являет собой ключевой момент жизни вслед за таинством рождения, все это я повторяю, как заклинание, чтобы нам суждено было встретиться, и обещаю при встрече не утруждать Вас – обещаю обращаться на «ты». А пока так много есть чего сказать...

Инга Федоровна, Вы помните, надеюсь, что мы условились, как только появятся в газете мои материалы, ради которых я приезжал в Ваши края, незамедлительно слать их Вам авиапочтой. К сожалению, я не уверен, что мои очерки о юнцах-подростках, о гонцах за анашой и обо всем том, что связано с этим печальным явлением наших дней, появятся в ближайшее время. Я говорю наших дней, потому что анаша произрастала на этих землях, как сорная трава, с незапамятных времен, а лет пятнадцать тому назад, Вы сами знаете, да что же я рассказываю Вам, специалисту, но, простите, я все равно буду рассказывать, Инга Федоровна, именно Вам, и только это придает теперь какой-то смысл всему этому предприятию – так вот, лет пятнадцать тому назад, как утверждают местные жители, никто и не

помышлял собирать эту злую штуку, или, как именуют ее анашисты, травку, ни для курения, ни для иного потребления. Это зло возникло совсем недавно, и в немалой степени под влиянием Запада. И вот теперь мне предлагают ограничиться какой-то докладной запиской в какие-то инстанции – это просто уму непостижимо. Понимаю, что тут особый разговор, ведь ложное опасение, что остросенсационный материал о наркомании среди молодежи – оговоримся для порядка: среди части малосознательной молодежи – причинит якобы ущерб нашему престижу, может вызвать лишь гнев и смех. Ведь это и есть страусовая политика... Зачем он нужен, этот престиж, если за него надо платить такую цену!

Представляю, Инга Федоровна, как Вы снисходительно улыбались, читая эти строки, улыбались скорей всего моему наивному возмущению, а может быть, и наоборот, хмурились, что, кстати, Вам очень идет. Когда Вы хмуритесь, Ваше лицо становится чистым и глубоким, как у юных монахинь, всерьез озабоченных постижением божественной сути, ведь подлинная красота этих невест христовых в их одухотворенности. Скажи я это вслух, да еще и в присутствии других людей, это выглядело бы попыткой лести. Но я уже сказал, что в моем отношении к Вам нет абсолютно ничего, что я должен был бы преуменьшать или преувеличивать. И если Ваш озабоченный лик вызывает у меня в памяти Богоматерь в живописи Возрождения, отнесите это в крайнем случае к моему недостаточному искусствоведческому опыту. Как бы то ни было, я уповаю на то, что Вы верите в мою искренность... Ведь с этого все началось – Вы поверили мне с первого слова и открыли для меня новую полосу жизни...»

\* \* \*

Сегодня снова был в редакции газеты по поводу своего материала, и опять то же самое – все на месте, никакого движения, никакого просвета. Никто не может толком объяснить, почему мои степные очерки, встреченные поначалу редакцией с таким ликованием, теперь ни у кого не вызывают энтузиазма, а ведь сколько откровенных признаний вызвали затронутые проблемы. Главный редактор газеты

всячески избегает теперь встречи со мной, дозвониться ему невозможно, секретарша все ссылается на его занятость: то у него заседание, то планерка, то его вызвали в вышестоящие, как она любит подчеркивать, инстанции.

И снова я иду одиноко по знакомым улицам, как будто бы сторонний человек, случайно приехавший сюда, как будто бы я здесь не родился и не вырос, так пусто и отчужденно на душе моей. Иные знакомые со мной не здороваются – я для них церковный отлучник, изгнанный из семинарии еретик и прочее и прочее. И только одно греет мое сердце, одна желанная забота всегда со мной – мое письмо. Иду и думаю о том, что напишу, что в очередном письме я расскажу обо всем, что мне кажется интересным для нее, обо всем, что может дать мне повод поделиться с ней своими думами. Никогда не предполагал, что думать о любимой женщине и писать ей письма станет смыслом моей жизни. Я только и жду хотя бы малейшей возможности поехать туда, где мы встретились. Скорей бы! Иду и думаю об этом. Наверное, и у других людей были такие дни, когда они тоже на какое-то время находили в любви главный смысл жизни и были ею счастливы, но в отличие от них я не перестану любить до самой смерти, и смысл моего житья будет только в этом...

Вот уже и листья падают на бульваре. А ведь то, о чем я писал, происходило в начале лета. Редакция в те дни приветствовала мою идею, торопила. Я же не предполагал, что, когда вопрос коснется дела, редакция уйдет в кусты. Не думал никак, что странный принцип – оповещать в массовой печати только о том, что для нас благоприятно, престижно, – настолько силен.

А в те дни я больше был поглощен предстоящей мне длительной поездкой в незнакомые и притягательные для меня, провинциального россиянина, южные края. Замысел состоял в том, чтобы поехать не как сторонний наблюдатель, а как один из гонцов за анашой, влившись в их тайную компанию. Конечно, возрастом я постарше их, но не настолько старше с виду, чтобы это настораживало. В редакции прикинули, что в старых джинсах и в разбитых кроссовках я вполне могу сойти за простецкого малого, если к тому же сбрую бороду. Так я и сделал – бороду на то время сбрил. Никаких записных книжек я с собой не брал, надеялся на память. Мне важно было проникнуть в ту среду, выяснить, почему именно эти ребята оказались туда

вовлеченными, что двигало ими, кроме соблазна наживы и спекуляции; мне необходимо было изучить изнутри личные, социальные, семейные и не в последнюю очередь психологические моменты этого явления.

С тем я и приготовился. Это было в мае. Именно в это время начинает цвести конопля-анаша, и именно в эти дни приступают к сбору ее цвета те, кто специально отправляется за этим зельем в Примоюнкусские и Чуйские степи. Обо всем этом мне поведал мой знакомый, учитель истории одной из школ нашего городка Виктор Никифорович Городецкий. Когда мы оставались наедине, беседуя о разных разностях, он называл меня в шутку отцом Авдием. Сам он сравнительно молодой человек, однокашник моей сестры Варвары. А вот племянник его, сын его родной сестры, Паша, Пахом, которого Виктор Никифорович, оказывается, сам нарек этим именем, так вот Паша этот, как выяснилось впоследствии, попал в анашистскую компанию. Ни родители, ни Виктор Никифорович не знали об этом.

Как-то Паша отпросился у родителей съездить в Рязань к деду, у которого он часто бывал. Дней через пять после его отъезда Виктор Никифорович получил телеграмму от следователя транспортной прокуратуры Джаслибекова с какой-то далекой казахстанской станции. В телеграмме сообщалось, что его племянник Паша находится под стражей, его задержали в связи с преступным провозом наркотиков по железной дороге.

Виктор Никифорович сразу понял, почему именно ему, а не родителям адресовал следователь Джаслибеков телеграмму. Паша боялся отца, человека резкого и крутого. Виктор Никифорович немедленно вылетел в Алма-Ату, а оттуда через сутки добрался на поезде до той степной станции. Застал он Пашу в отчаянном состоянии. Ему грозил немедленный суд и приговор по особому указу со сроком не менее трех лет в колонии строгого режима. Суд был неизбежен – состав преступления налицо. Виктор Никифорович пытался, как мог, втолковать племяннику, что другого исхода, к сожалению, нет, что по закону за преступлением следует наказание. Советовал, как держаться, что говорить на суде, обещал все объяснить родителям, обещал приезжать к нему на свидания в колонию. Все это происходило в присутствии Джаслибекова. И тут вдруг Джаслибеков говорит:

– Виктор Никифорович, если вы поручитесь, что ваш племянник впредь не повторит подобное преступление, я отпущу его под свою ответственность. Мне почему-то показалось, что вы сможете наставить этого молодого человека на путь истинный. Если же он еще раз попадется с провозом анаши, его будут судить как рецидивиста. Вот решайте сами.

Ну, конечно, Виктор Никифорович несказанно обрадовался, тут же поручился за Пашу, не знал, как и благодарить следователя, и тогда Джаслибеков сказал:

– А вас, Виктор Никифорович, я просил бы помочь нам там, на местах у вас. Попробуйте поднять в прессе серьезный разговор на эту тему. Ведь вы учитель. Мы боремся с самими преступлениями, когда они уже совершены или в процессе совершения. А вот кто и что гонит таких, можно сказать, мальчишек вдаль, в безлюдные места, в среду деклассированных элементов, а то и отпетых рецидивистов, мы не знаем, а ведь мы этих подростков судим, вынуждены, обязаны судить. Очень хорошо, что вы, в частности, сразу откликнулись, незамедлительно приехали и тем очень помогли мне, а многие родственники – и таких большинство – не приезжают вовсе. И так попадает человек пятнадцати лет от роду в колонию строгого режима. А что там? Что с ними происходит, чему они там научатся? Никчемными, искалеченными людьми – вот какими они выйдут оттуда. Сами понимаете, тюрьма не от хорошей жизни. Виктор Никифорович, душа болит, на все это глядя. Верите ли, только в прошлый сезон по нашему участку дороги мы судили более ста подростков, а скольких мы пропустили, не смогли задержать, а они все едут и едут отовсюду, от Архангельска до Камчатки, прут, как рыба на нерест. Сколько же можно? Всех ведь не пересудишь. У них возникла целая система промысла. Среди них есть проводники – и здешние и нездешние, – которые ведут их в места произрастания анаши, их мы тоже судим. А что они творят с поездами? Останавливают в степи товарняки, в пассажирский-то они не смеют сунуться, там сразу их схватят. Кто-то снабжает их специальным составом, порошок такой, если посыпать ночью на шпалы, на рельсы, то в лучах фар возникает иллюзия, будто дорога занялась огнем. Шпалы горят, рельсы горят. Конечно, машинист останавливает состав – в степи всякое может случиться, выбегает на дорогу, но нет, ничего не горит, все в порядке.

А анашисты тем временем залезают в вагоны со своими сумками, с чемоданами. Составы нынешние такие – на целый километр, попробуй уследи, а они забираются и едут до узловой станции. Там покупают билеты. Пассажиров-то вон сколько! Узнай, кто есть кто. Правда, милиция в последние годы завела специальных собак, они анашу по запаху находят. Вот вашего племянника и обнаружили с помощью собаки...

И еще много кое-чего узнал Виктор Никифорович в тех местах. Он-то и посвятил меня в эти дела. Но еще до этого я был внутренне готов к такому разговору. Меня давно терзала мысль – найти нехоженые тропы к умам и сердцам своих сверстников. Я видел свое призвание в поучении добру. Может, несколько самонадеянно было с моей стороны полагать, что в этом мое предназначение, но, во всяком случае, мне этого искренне хотелось, и, пожалуй, не в последней степени это объясняется моим происхождением. В некоторых статьях своих я уже говорил, хотя и в самых общих чертах, о пагубности алкоголизма среди молодежи, примерно то же писал и о наркомании, ссылаясь на печальный опыт Запада. Но все это было, по сути, с чужих слов, из вторых рук. А для яркого и в то же время проникновенного материала, где были бы мои собственные размышления и переживания по поводу всем известных и в то же время суеверно избегаемых многими, как чумы, случаев наркомании среди молодежи, особенно среди подростков, приводящих к печальным последствиям – от саморазрушения личности до садистских убийств, – так вот, для такого материала мне не хватало знания проблемы изнутри и реалий. А тут как раз получилось, что Виктор Никифорович Городецкий, столкнувшийся с этим явлением на собственном опыте, решил поделиться своими думами и душевными огорчениями. Чтобы оторвать Пашу от прежних друзей-товарищей, промышлявших анашой, вся семья, отец, мать, дети, вынуждена была, обменяв квартиру на меньшую, переехать в другой город. Обо всем этом Виктор Никифорович и рассказал мне с печалью и горечью.

Это и подтолкнуло меня решительно взяться за задуманное дело.

\* \* \*

Я прибыл в Москву, где должен был отправиться с Казанского вокзала в конопляные степи. Дело в том, что именно здесь, на Казанском, формировалась первоначально группа гонцов, они так себя и называли – гонцы. Эти гонцы, как я потом убедился, съезжались из самых разных городов Севера и Прибалтики, причем наиболее оживленными точками являлись Архангельск и Клайпеда, должно быть, потому, что анашу там могли перепродавать морякам, уходящим в плавание. Чтобы напасть на след гонцов, я должен был найти на Казанском вокзале носильщика с нагрудным знаком восемьдесят семь по кличке Утюг, или Утя, и передать ему привет от одного из бывших приятелей, упомянутого Пашей. Утюг имел знакомство в билетных кассах – он обеспечивал, безусловно за какую-то мзду, проезд. Но узнать, кто именно это устраивал, мне не удалось, видимо, звено кто-то возглавлял, хотя и тайно. Так вот, этот Утя обеспечивал организованный выезд группы гонцов, то есть он должен был добыть всем билеты на один поезд, но желательно в разных вагонах. Сойдясь поближе с гонцами, я узнал, что первая заповедь всех добытчиков анаши состояла в том, чтобы в случае провала ни за что не выдавать друг друга, поэтому на людях им надо было поменьше общаться между собой.

И вот знакомая площадь трех вокзалов, где я столько раз бывал, приезжая и уезжая из Москвы. Чудовищная толчея, особенно в метро и на вокзалах, – не пробьешься, не протиснешься от многолюдья, и кого только и откуда только не закрутит, как щепку, живой водоворот площади трех вокзалов, и все равно любил я наезжать в Москву, любил, вырвавшись уже ближе к центру на относительный простор, бродить по улицам, толкаться в букинистических магазинах, стоять у афиш и реклам и, если удастся, отправиться в очередной раз в Третьяковку или Пушкинский музей.

В этот раз, выйдя на Ярославском вокзале с электрички и следуя в потоке толпы к Казанскому вокзалу, я поймал себя на мысли, как хорошо, оказывается, мне жилось и чувствовалось прежде, когда я, предоставленный самому себе и своим неприхотливым побуждениям, не был обременен ничем и никакие заботы не ограничивали особенно моего времени и моих странствий по московским улицам. Сейчас же мне нужно было как можно быстрее разыскать на огромном, кишашем, как муравейник, Казанском вокзале того самого связника-

носильщика по кличке Утюг с нагрудным знаком восемьдесят семь. Боже, сколько же их, этих носильщиков, а вернее тележников, на Казанском вокзале, если этот значился восемьдесят седьмым, – уж, наверно, не меньше ста. И действительно, в этом столпотворении оказалось не так просто его обнаружить. Потратив по меньшей мере полчаса на то, чтобы обойти все возможные стоянки тележников, я наконец нашел его на перроне у поезда, отходящего в Ташкент. Кого-то Утюг погружал, поспешно перенося с тележки в вагон чемоданы и коробки, бойко перебрасывался на ходу шутками с проводниками и повторял расхожее привокзальное присловье: «Деньги есть – Казан поеду, деньги нет – Чешма пойду». Я подождал в стороне – пока он освободится, пока отъезжающие скроются в вагоне, а провожающие рассредоточатся вдоль состава по окнам купе. И тут он вышел из тамбура, запыхавшись, суя чаевые в карман. Эдакий рыжеватый детина, эдакий хитрый кот с бегаящими глазами. Я чуть было не допустил оплошность – едва не обратился к нему на «вы» да еще чуть не извинился за беспокойство.

– Привет, Утюг, как дела? – сказал я ему насколько возможно бесцеремонней.

– Дела как в Польше: у кого телега, тот и пан, – бойко ответил он, точно мы с ним сто лет были знакомы.

– Значит, ты и пан, – заключил я, указывая на его тачку.

– А ты думал! Мы, брат, тоже знаем, у кого денег куры не клюют. А тебе чего, чавыча? Подвезти, может, что-нибудь надо? Изволь!

– Подвезти я и сам могу, – пошутил я. – Дело у меня есть.

– Ну говори, какое дело.

– Не здесь, давай отойдем.

– Айда, чавыча, отойдем.

И мы пошли по длинному перрону к зданию вокзала. Ташкентский поезд тронулся, уплывая мимо вереницей окон и вереницей лиц за стеклами, а на соседнем пути встал другой состав, прибывший откуда-то. Поезда стояли в несколько рядов, народ суетился, спешил, громкоговоритель то и дело выкрикивал номера отправляющихся и прибывающих поездов.

Когда мы дошли до вокзального здания, Утюг свернул тележку в уголок, где не было народа, и там, оглядевшись по сторонам, я передал



ему привет от Пашкиного друга, которого звали Игорем, но у гонцов он прозывался Моржом. Почему Моржом, кто знает.

– А Морж где сам? – осведомился Утюг.

– Доходит, – ответил я. – Язва желудка замучила.

– Как в воду глядел, – с сожалением, но и не без торжества хлопнул себя Утюг по лбу. – Говорил я ему, чавыча, еще в прошлый раз говорил, не дури, Моржок, не лезь на хухок. Он же экстру применял, ну и перехватил через край. Вот тебе и язва.

Я изобразил на лице сочувствие, хотя, откровенно говоря, не понимал, что это за экстра – водка или еще что. Но, слава богу, догадался не уточнять. Как выяснилось позже, под экстрой подразумевалось экстрагированное из пластилина – коноплянопыльцовой массы, напоминающей детский пластилин, – самое ценное сырье (насчет пластилина я, кстати, знал, Виктор Никифорович рассказывал), особое конечное наркотическое вещество наподобие опиума. Это и была экстра. В химических лабораториях экстра могла быть преобразована в порошок для инъекций, как героин. Это таким, как Морж, и прочим гонцам было недоступно, зато они при большом желании могли употреблять экстру – держать ее под языком, жевать, запивать водкой, глотать вместе с хлебом. Употреблять экстру называлось у них врезать по мозгам. Но самым доступным и простым было все же курить анашу – кто во что горазд – в чистом виде, в смешанном составе с табаком. Это, наверное, не хуже, чем врезать по мозгам, правда, действие дыма более быстротечно, нежели другие способы.

Все это и многое другое из жизни самих гонцов я постепенно узнавал в поездке на «халхин-гол»; под «халхин-голом» опять же подразумевались места произрастания анаши. С этим «халхин-голом» я снова чуть не попал впросак.

– А ты, чавыча, тоже на «халхин-гол»? – спросил Утюг как бы между делом.

Я вначале запнулся, не поняв, что это за «халхин-гол» такой, а потом как-то смекнул:

– Да вроде. В общем-то да, а то чего бы мне...

– Ну тогда вот так. Насчет билетов, чавыча, не беспокойся. Все будет. Ну а насчет остального – это уже когда вернетесь с травкой, сам Дог разберется. Это дело не мое.

Кто такой был Дог, который обеспечивал нас билетами, и в чем он должен был потом разобраться, я и не знал и так и не выяснил до самого конца. Зато в том разговоре с Утюгом я узнал, что отъезд наш в «халхин-гол» может состояться не раньше чем на другой день. Прежде всего потому, что съехались еще не все гонцы. Двое гонцов из Мурманска должны были прибыть ночным поездом. И еще один, не знаю откуда, мог приехать только к утру. Это меня несколько не волновало, побыть лишний денек в Москве тоже что-нибудь да значило.

Прощаясь со мной до завтра, когда я в условленный час должен был прийти на Казанский вокзал (а что мне было туда приходить, когда так и так пришлось бы ночевать на вокзале), Утюг поинтересовался, есть ли у меня рюкзак и полиэтиленовые пакеты, чтобы складывать травку, то есть анашу. Рюкзак и пакеты у меня имелись в чемоданчике. И он порекомендовал мне поискать в магазинах какую-нибудь герметически закрывающуюся стеклянную или пластмассовую коробочку, чтобы собирать в нее пыльцовую массу – так называемый пластилин.

– Не будешь лопухом, соберешь малость пластилинчику, хотя дело это и непростое, – пояснил он. – Сам я никогда не ездил, но много слышал. Тут есть один, Леха, так он за два сезона «Жигуль» отхватил. Ездит теперь себе по Москве поплеывает... А трудов-то – от силы дней на десять...

С тем мы и расстались. Я закинул свой чемоданишко в камеру хранения и пошел пройтись по Москве.

Стоял конец мая. Пожалуй, нет для Москвы лучшей поры, чем эти дни перед началом лета. Хотя ведь и осень, ранняя осень, когда прозрачность воздуха, золотистость листвы отражаются даже в глазах прохожих, тоже несказанно прекрасна. Но мне больше по душе именно московское предлетье – и днем отрадно на улицах, и белыми ночами, когда царствует до утра пересвет ночной зари и в городе, и в звездном небе над городом.

Я поспешил вырваться с вокзала на свежий воздух, но, вспомнив, что в центр лучше добраться на метро, снова окунулся в многолюдное движение. До вечернего часа «пик» было еще далеко, и я через чередующиеся, гудящие смены тьмы и света свободно доехал до самого центра. На площади Свердлова заглянул в мой любимый сквер.

Круглый сквер зеленел и пестрел, как благодатный островок среди охватившего его кольцом непрерывного движения и обступивших строений. И я почти безотчетно двинулся в потоке прохожих вначале к Манежу – думал, там какая-нибудь выставка окажется, но Манеж был закрыт, и тогда я побрел мимо старого МГУ, мимо Пашкова дома на Волхонку и оттуда к Пушкинскому музею. Не знаю, отчего на душе у меня было так покойно и благостно – может быть, это от московских улиц в центре перед часом «пик» исходит такое умиротворение, а может быть, оно исходит от кирпичного силуэта Кремля, подобно незыблемому горному кряжу господствующего в этой части города. «Что видели эти стены и что еще увидят?» – думалось мне, и в уличных размышлениях, наплывающих сами по себе, я забыл, что недавно сбрил бороду, и оттого все время прикасался к голому подбородку; забыл на какое-то время и то, что я пытался постичь в гнездившемся на Казанском вокзале мутном средоточии зла.

Нет, все-таки судьба есть, она определяет и добрые и худые события. И надо же случиться такому везению, о котором, направляясь в Пушкинский музей, я даже не помышлял. Ведь я-то шел, надеясь в лучшем случае на какие-нибудь новинки в экспозиции музея, хоть и это было не обязательно, походил бы себе и так просто по залам, освежил старые впечатления. А тут у самого входа, перед садиком, какая-то парочка, идя навстречу, остановила меня:

– Слушай, паря, тебе не нужен билетик? – предложил некий тип при ярком зеленом галстуке и в новых рыжих туфлях, которые ему явно жали. На лице у него и его спутницы были нетерпение и скука.

– А что, билетов нет, что ли? – поинтересовался я, так как никаких очередей не видно было.

– Да нет, это на концерт. Только бери оба.

– На какой концерт? – спросил я.

– А кто его знает, хор какой-то церковный.

– В музее? – удивился я.

– Берешь или не берешь? Отдаю два билета за трояк, бери.

Я схватил оба билета и поспешил в музей. Я не слышал, чтобы в Пушкинском устраивались концерты. Но оказалось, как выяснил я у администратора, что с некоторых пор при музее действовало нечто вроде лектория классической музыки, главным образом избранной камерной музыки в исполнении знаменитых музыкантов. А в этот раз

– вот уж диво! – в зале, именуемом Итальянским двориком, предстоял концерт староболгарского храмового пения. Вот уж чего мне и не снилось! Неужели будет исполняться отец славянской литургии Иоанн Кукузель? К сожалению, администраторша подробностей не знала. Сказала только, что ожидаются важные гости, чуть ли не сам болгарский посол. Пусть это меня не касалось, но я разволновался и обрадовался, ибо от отца своего еще был наслышан о болгарских песнопениях, а тут на тебе – такой подарок перед рискованной для меня поездкой. До начала концерта оставалось еще полчаса, и я не стал бродить по музею, а вышел на улицу подышать и успокоиться.

Ах Москва, Москва, на одном из семи взгорьев этих близ Москвы-реки, под конец майского дня! Все отраднo и осмысленно в граде, когда на душе ни тени и царит недолгая гармония бытия. Мне дышалось свободно и глубоко, в небе была ясность, на земле – тепло, и я ходил взад-вперед вдоль чугунной ограды сада перед музеем.

Мне стало жаль, что я никого не жду, может быть, потому, что у меня было два билета. И как понятно и естественно было бы, если бы она с минуты на минуту должна была подоспеть и я увидел бы ее на другой стороне улицы, увидел, как она собирается перейти дорогу, боясь, что опоздает, а я, волнуясь за нее, такую прекрасную, неосторожную и глупую, делал бы ей отчаянные знаки, чтобы она ни в коем случае не перебежала улицу, – вон сколько машин несется, сколько людей повсюду, и только она одна среди всех несла в себе счастье, отпущенное мне, а она улыбнулась бы мне, ведь она догадалась бы о моих мыслях по выражению моего лица. И тогда я сам, упреждая ее, побежал бы к ней на ту сторону улицы, за себя я не боялся, я ловкий, а перебежав, посмотрел бы ей в глаза и взял бы за руку. Вообразив себе ни с того ни с сего такую сцену, я действительно почувствовал вдруг тоску по любви и в который раз подумал, что до сих пор не встретилаcь мне та, которой предопределено судьбой быть моей любимой. Но существует ли она, такая предопределенная, не придумал ли я ее и не усложняю ли простые вещи? Об этом я много думал и каждый раз приходил к печальному выводу, что, пожалуй, сам во всем виноват, – то ли слишком много ожидаю, то ли неинтересный я для девушек человек. Во всяком случае, мои сверстники оказались в этом смысле гораздо удачливее и сноровистее. Оправданием могло послужить лишь то, что духовная семинария

препятствовала окунуться в молодую жизнь. Но и после ухода из семинарии я нисколько не преуспел на этом поприще. Почему? Вот если бы действительно она явилась сейчас, та, которую я готов полюбить, то я первым делом сказал бы ей: пойдём послушаем храмовое песнопение и в том обретем себя. Но потом на меня напали сомнения. А что если это покажется ей скучно и однообразно, не совсем понятно, а главное, одно дело – ритуальное пение в храме, а другое – в светском здании при разнородной публике. Не получится ли, как если бы баховские хоралы стали исполнять на физкультурном стадионе или в казарме авиадесантников, привыкших к бравурным маршам?

К Пушкинскому музею стали подъезжать сверкающие гляncем машины, прикатил даже интуристский автобус. Значит, настало время. У входа в Итальянский дворик уже толпились люди. Чем-то они все походили друг на друга, и женщины, и мужчины, – так бывает, когда люди сообща ожидают какого-то действия, события. Кто-то спрашивал лишний билетик. Я отдал один билет студенту, близорукому, должно быть, или не в тех очках. И сам был не рад. Он стал отсчитывать в толпе мелочь, ронял ее, я его просил прекратить, сказал, что билеты были мне подарены и потому один из них я дарю ему, но он ни в какую и, когда я уже проходил в зал, бросил мне ту мелочь в карман куртки. Конечно, деньги мне были нужны, я жил, как говорится, на вольных, но скудных хлебах, и все же... Смутило меня и то, что столичная публика была соответственно одета, а я был в старых поношенных джинсах, в куртchonке нараспашку, в здоровых башмаках и еще с обритой бородой, к чему я так трудно привыкал, точно бы мне чего-то не хватало, – ведь я собрался в далекий путь-дорогу, в какие-то неведомые конопляные степи с невесть какими добытчиками анаши. Но все это были незначительные мелочи...

В высоком, в два этажа Итальянском дворике все экспонаты остались, как мне показалось, на местах, только в середине зала поставили плотными рядами стулья, на которых мы и разместились. Ни сцены, ни микрофонов, ни занавеса – ничего такого не было. Там, где положено быть президиуму, стояла с краю небольшая кафедра. Минуты через две все места были уже заняты, кое-кто даже толпился у входа. Видимо, среди присутствующих было много знакомых, между

собой все оживленно переговаривались, и только я один молчал, был сам по себе.

Но вот откуда-то сбоку из дверей вышли две женщины. Одна из них, служительница Пушкинского музея, представила другую – болгарскую, как она выразилась, коллегу из софийского музея при соборе Александра Невского. Разноголосица в зале стихла. Болгарка, серьезная молодая женщина, гладко причесанная, в хороших туфлях, с красивыми ногами, что почему-то бросилось мне в глаза, строго глянув поверх больших затемненных очков, приветствовала нас и на сносом русском языке сделала небольшой доклад. Рассказала, что наряду с бесценными экспонатами церковного зодчества, старинными рукописями, образцами иконописи и книгопечатания они демонстрируют в своем музее, в крипте – полуподвальных залах собора, на вечерних концертах, как сообщила она с улыбкой, и экспонаты в живом исполнении – средневековые церковные песнопения. С этой целью по приглашению Пушкинского музея они-де и прибыли с капеллой «Крипт».

– Попросим! – предложила она под аплодисменты.

Певцы вошли, собственно, они оказались здесь же, за дверьми, через которые и мы проходили. Их было десять человек, всего десять. Причем все молодые, можно сказать, мои ровесники. Все в одинаковых черных концертных костюмах, с жесткими бабочками на белых манишках, все в черных ботинках. Ни тебе инструментов, ни микрофонов, ни эстрадных звукоусилителей, ни даже помоста для сцены и никаких, конечно, световых манипуляторов – просто в зале несколько приглушили свет.

И хотя я был уверен, что сюда собрались слушатели, имеющие представление, что такое капелла, мне почему-то стало страшно за певцов. Столько народу собралось, да и молодежь наша привыкла к электронному громогласию, а они – как безоружные солдаты на поле боя.

Певцы плотно выстроились плечом к плечу, образовав небольшое полукружие. Лица их были спокойны и сосредоточены, точно они вовсе не боялись за себя. И еще одну странность я заметил – все они почему-то казались похожими друг на друга. Возможно, потому, что в этот час ими владела общая забота, общая готовность, единый душевный порыв. Ведь в такие мгновения все, может быть, и очень

важное в другое время в повседневной жизни каждого, начисто исключается из помыслов – точно так перед началом боя все думают лишь о том, как одержать победу.

Между тем ведущая, все так же серьезно поглядывая через затемненные очки, дала перед началом концерта коротенькую историческую справку о своеобразности болгарской церкви, идущей от византийских корней, но со своими особенностями, со своей литургией, коснулась также некоторых деталей, относящихся к национальным традициям болгарского пения. И объявила начало концерта.

Певцы были готовы. Они еще немного помолчали, настраивая дыхание, еще тесней сплотились плечами, и тут стало совсем тихо, зал точно опустел – до того всем было интересно, что же смогут эти десятеро, как они отважились и на что надеются. И вот по кивку стоящего справа третьим от края, видимо, ведущего в этой группе, они запели. И голоса взлетели...

В той тишине как бы медленно тронулась с места божественная воздушная колесница со сверкающими ободами и спицами и покатила по незримым волнам за пределы зала, оставляя за собой долго не стихающий, всякий раз вновь возрождающийся из неисчерпаемых запасов духа торжественный и ликующий след голосов.

Уже с зачина стало ясно, что этой капеллой достигнута такая степень спетости, такая подвижность и слаженность голосов, которую практически невозможно достигнуть десяти разным людям, какими бы вокальными данными и мастерством они ни обладали, и если бы это песнопение проходило в сопровождении любых, особенно современных, музыкальных инструментов, то, несомненно, такое уникальное здание на десяти опорах разрушилось бы. Редкая судьба могла устроить такое чудо, чтобы именно они, эти десятеро, отмеченные свыше, родились примерно в одно и то же время, выжили и обнаружили друг друга, прониклись сыновним чувством долга перед праотцами, некогда выстрадавшими Его, придуманного, недостижимого и не отделимого от духа, – ведь лишь из этого могло возникнуть такое непередаваемое истовое пение. И в этом была сила их искусства, сильного лишь страстью, упоением, могуществом исторгаемых звуков и чувств, когда заученные божественные тексты

лишь предлог, лишь формальное обращение к Нему, а на первом месте здесь дух человеческий, устремленный к вершинам собственного величия.

Слушатели были покорены, зачарованы, повергнуты в раздумья; каждому представился случай самому по себе, в одиночку, примкнуть к тому, что веками слагалось в трагических заблуждениях и озарениях разума, вечно ищущего себя вовне, и в то же время вместе со всеми, коллективно воспринять Слово, удесятеряющее силу пения от сопричастности к нему множества душ. И в то же время воображение увлекало каждого в тот неясный, но всегда до боли желанный мир, слагающийся из собственных воспоминаний, грез, тоски, укоров совести, из утрат и радостей, изведанных человеком на его жизненном пути.

Я не понимал и, по правде говоря, не очень и желал понимать, что происходило со мной в тот час, что приковало мои мысли и чувства с такой неотразимой силой к этим десятерым певцам, с виду таким же, как и я, людям, но гимны, которые они распевали, словно исходили от меня, от моих собственных побуждений, от накопившихся болей, тревог и восторгов, до сих пор не находивших во мне выхода, и, освобождаясь от них и одновременно наполняясь новым светом и прозрением, я постигал благодаря искусству этих певцов изначальную сущность храмового песнопения – этот крик жизни, крик человека с вознесенными ввысь руками, говорящий о вековечной жажде утвердить себя, облегчить свою участь, найти точку опоры в необозримых просторах Вселенной, трагически уповая, что существуют, помимо него, еще какие-то небесные силы, которые помогут ему в этом. Грандиозное заблуждение! О, как велико стремление человека быть услышанным наверху! И сколько энергии, сколько мысли вложил он в уверения, покаяния, в славословия, принуждая себя во имя этого к смирению, к послушанию, к безропотности вопреки бунтующей крови своей, вопреки стихии своей, вечно жаждущей мятежа, новшеств, отрицаний. О, как трудно и мучительно это давалось ему. Ригведа, псалмы, заклинания, гимны, шаманство! И столько еще было произнесено в веках нескончаемых мольб и молитв, что, будь они материально ощутимыми, затопили бы собой всю землю, подобно горько-соленым океанам, вышедшим из берегов. Как трудно рождалось в человеке человеческое...



А они пели, эти десятеро. Богом сопряженные вместе, с тем чтобы мы погружались в себя, в кружащие омуты подсознания, воскрешали в себе прошлое, дух и скорби ушедших поколений, чтобы затем вознеслись, воспарили над собой и над миром и нашли красоту и смысл собственного предназначения, – однажды явившись в жизнь, возлюбить ее чудесное устройство. Эти десятеро пели так самозабвенно, так богодостойно – быть может, сами того не ведая, что пробуждали в душах высшие порывы, которые редко когда охватывают людей в обыденной жизни, среди постылых забот и суеты. И оттого собравшихся безотчетно переполняла благодать, их лица взволнованны, у некоторых поблескивали слезы в глазах.

Как я радовался, как благодарил случай, приведший меня сюда, чтобы подарить мне этот праздник, когда мое существование словно бы вышло на вневременный и внепространственный простор, где чудодейственно совмещались все мои познания и переживания и в воспоминаниях о прошлом, в сознании настоящего и в грезах о будущем. И среди этих размышлений мне подумалось, что я еще не любил, и тоска по любви, которая жила в моей крови и ждала своего часа, дала о себе знать щемящей болью в груди. Кто она, где она, когда и как это будет? Несколько раз я оглядывался невольно на двери, возможно, она пришла и стоит там, слушает и ждет, когда я увижу ее. Как жаль, что ее не было в тот час в том зале, как жаль, что невозможно было тогда разделить с ней то, что меня волновало и питало мое воображение. И еще я думал: только бы судьба не устроила из этого нечто смешное, такое, что потом самому будет стыдно вспоминать...

Почему-то вспомнилась мне мать в раннем детстве... Помню ясное зимнее утро, редко падающий снежок на бульваре, она, глядя мне в лицо улыбающимися глазами, застегивает пуговицы на распахнутом моем пальтеце и что-то говорит, а я бегу от нее, и она весело догоняет меня, и плывет над нашим городком колокольный звон из церкви на пригорке, где в тот час служит мой отец, провинциальный дьякон, человек, истово верующий и в то же время, как я теперь догадываюсь, прекрасно понимавший всю условность того, что создано человеком от имени и во имя Бога... А я, при всем сочувствии к нему, пошел совсем иным путем, не таким, как он желал. И мне становилось тягостно от сознания того, что отец ушел в мир иной в

согласии с собой, а я мечусь, отрицаю прошлое, хотя и восторгаюсь при этом былым величием, могучей выразительностью этой некогда всесильной идеи, пытавшейся, распространяясь из века в век, обращать души необращенных на всех материках и островах, с тем чтобы навсегда, на все времена утвердиться в мире, в поколениях, в воззрениях, сдерживая и отводя, как громоотвод отводит молнию в землю, вечный вызов вечно мятежных человеческих сомнений в глубины покорности. Благодарность им – Вере и Сомнению, силам бытия, обоюдно движущим жизнь.

Я родился, когда силы сомнения взяли верх, порождая, в свою очередь, новые сомнения, и я продукт этого процесса, преданный анафеме одной стороной и не принятый со всеми моими сложностями другой стороной. Ну что ж, на таких, как я, история отыгрывается, отводит душу... Так думал я, слушая староболгарские песнопения.

А песни те пелись одна за другой, пелись в том зале, как эхо минувших времен. Библейские страсти в «Жертве вечерней», в «Избиении младенцев» и в «Ангеле вопияше» сменялись суровыми пламенными песнями других мучеников за веру, и, хотя все это во многом мне было известно, меня неизъяснимо пленяло само действие – то, как эти десятеро завораживали, претворяли знакомое в великое искусство, сила которого зависит от исторической вместимости народного духа – кто много страдал, тот много познал...

Вслушиваясь в голоса софийских певцов, опьяненных, вдохновленных собственным пением, вглядываясь в их мимику, я вдруг обнаружил, что один из них, второй слева, единственный светлый среди смугловатых и черноволосых болгар, очень похож на меня. Поразительно было увидеть человека, так похожего на тебя самого. Сероглазый, узкоплечий – его, наверное, тоже в детстве звали хилияком, – с длинными светлыми волосами, с такими же жилистыми тощими руками, он, возможно, так же преодолевал свою застенчивость пением, как мне подчас приходится преодолевать свою скованность, переводя разговор на близкие мне теологические темы. Можно представить себе, как глупо это выглядит, когда я завожу такие серьезные разговоры при знакомстве с женщинами. И обликом сероглазый певец был такой же – впалые щеки, нос с легкой горбинкой, лоб перерезан двумя продольными складками и – самое примечательное – борода точь-в-точь такая, как у меня до того, как я ее

сбрил. Потянувшись невольно к былой бороде, я снова вспомнил, что назавтра мне предстоит отправиться в путь-дорогу вместе с добытчиками анаши. И диву дался, подумав об этом: куда я еду, зачем? Какой контраст – божественные гимны и темные страсти привокзальных Утюгов по дурному дыму от дурной травы. Но во все времена настоящая людская жизнь с ее добром и злом протекала за стенами храмов. И наша современность не исключение...

Вот такое совпадение обликов обнаружил я на том концерте. Потом я уже не спускал глаз со своего двойника, следя за тем, как он пел, как вытягивалось его лицо, как разверзался рот, когда он брал самые высокие ноты. И сочувствуя ему, я представлял себя на его месте, точно бы он был моим перевоплощением. Таким образом я как бы участвовал в процессе пения. Во мне все пело, я слился с хором воедино, испытывая необыкновенное, доходящее до слез чувство братства, величия, общности, точно мы встретились после долгой разлуки – возмужалые, сильные и торжествующие голоса наши возносятся к небесам, и земля под нами прочна и незыблема. И так мы будем петь, сколько будет петься, петь бесконечно...

Так пели они и я с ними. Такое состояние чудесного забытья я испытываю обычно, когда слушаю старинные грузинские песни. Мне трудно объяснить отчего, но стоит запеть хотя бы троим грузинам, пусть самым обыкновенным, – и изливается душа, и дышит искусство, простое и редкое по соразмерности, по силе воздействия духа. Наверно, это у них особый дар природы, тип культуры, а может, просто от Бога. Мне непонятно, о чем они поют, мне важно, что я пою вместе с ними.

Думая об этом, я слушал певцов, и меня вдруг посетило озарение, мне открылась суть прочитанного однажды грузинского рассказа «Шестеро и седьмой». Небольшой рассказ, каких полно в периодической печати, и нельзя сказать, чтобы он чем-то выделялся, рассказ больше фабульный, чем психологический, скорее романтического склада, но финал этой истории запомнился мне надолго, финал почему-то засел во мне занозой.

Содержание рассказа, а вернее баллады, «Шестеро и седьмой» (сложную фамилию ее малоизвестного автора я не помню) тоже весьма тривиальное. Пылает революция, идет кровопролитная Гражданская война, революция утверждает себя в последних схватках с врагом, и в

Грузии, стало быть, типичный исторический исход – Советская власть побеждает, все больше вытесняя последние остатки вооруженных контрреволюционеров даже из самых глухих горных селений. Действует основной в таких случаях закон – если враг не сдается, его уничтожают. Но жестокость порождает ответную жестокость – это тоже давний закон. Особенно яростно сопротивляется отряд удалого Гурама Джохадзе, отлично знавшего окрестные горы, бывшего пастуха-конника, а ныне дерзкого неуловимого налетчика, запутавшегося в классовый борьбе. Но и его дни уже сочтены. В последнее время он терпит поражение за поражением. В отряд Гурама подослан чекист, который, рискуя быть раскрытым – со всеми вытекающими отсюда последствиями, входит в доверие Гурама Джохадзе, становится одним из его соратников. Он устраивает так, что, отступая после большого боя с поредевшим от потерь отрядом, Гурам Джохадзе попадает на речной переправе в засаду. Когда они на бешеном скаку достигают берега и бросаются в реку, чекист сваливается с коня возле зарослей: у него якобы обрывается подпруга. А большая ватага конников Джохадзе преодолевает на разгоряченных лошадях перекуты широкой горной реки, и на самой ее середине, где они открыты со всех сторон, два заранее установленных и замаскированных станковых пулемета косят их с двух берегов, берут их в перекрестный кинжальный огонь. Дикая свалка, люди погибают, захлебываясь в горной реке, но Гурам Джохадзе – судьба его бережет! – успевает вырваться из-под обстрела, поворачивает вспять и благодаря своему могучему коню уносится вдоль берега по зарослям. А за ним мчатся несколько верных всадников, оставшихся в живых, и среди них чекист, немедленно присоединившийся к ним, как только он понял, что операция не вполне удалась и что главарь уходит от расправы.

Этот пулеметный расстрел на реке означал окончательный разгром отряда Джохадзе, фактически полное его истребление.

Когда, оторвавшись наконец от преследователей, Гурам Джохадзе останавливает загнанного коня, выясняется, что от отряда вместе с Гурамом Джохадзе осталось всего семь человек, и седьмым был чекист – звали его Сандро. Отсюда, очевидно, и название рассказа – «Шестеро и седьмой».

Сандро имел приказ во что бы то ни стало ликвидировать главаря банды – Гурама Джохадзе. Голова его оценивалась в большую сумму. Но дело было даже не в сумме, а в том, как осуществить этот приказ теперь, когда уже было ясно, что Джохадзе больше не вступит в бой, где его можно было бы подстрелить; ведь нынче, когда он остался, по сути дела, один, как загнанный в ловушку зверь, он, рассчитывая лишь на себя, на свою личную ловкость, будет чрезвычайно бдителен. Было ясно, что Джохадзе не отдаст свою жизнь без борьбы до последнего издыхания...

И вот развязка этой истории – она взволновала меня больше всего...

После жестокого разгрома на реке Гурам Джохадзе, знавший все ходы в ущельях, поздним вечером того дня останавливается в одном труднодоступном месте – в горном лесу близ турецкой границы. И все они, шестеро и седьмой, едва расседлав коней, валятся от усталости наземь. Пятеро тут же засыпают мертвым сном, а двое не спят. Не спит чекист Сандро, его мучает забота: он обдумывает, как ему теперь быть, как лучше достичь своей цели, как осуществить возмездие. Не спит после сокрушительной катастрофы и удалой Гурам Джохадзе – он переживает разгром отряда, его мучает завтрашний день. И лишь один Бог ведает, о чем еще думали эти двое непримиримых врагов, разделенных революцией.

Полная луна стояла справа от их изголовья, лес шевелился по ночному тяжко и глухо, внизу неумолчно шумела по камням река, и горы вокруг замерли в каменном молчании. И тут Гурам Джохадзе неожиданно вскочил, словно чем-то обеспокоенный.

– Ты не спишь, Сандро? – удивленно спросил он седьмого.

– Нет, а ты что вскочил? – в свою очередь, спросил Сандро.

– А ничего. Сон не идет, не ложится мне что-то на этом месте, луна сильно светит. Пойду лягу в пещере. – И Джохадзе взял свою бурку, оружие и седло под голову и, уходя, добавил: – Об остальном поговорим завтра. Теперь нам недолго осталось разговаривать.

И с этим ушел, устроился в устье пещеры – в бытность свою пастухом он не раз укрывался здесь от непогоды – вот и теперь то ли укрылся переживать свою бескрайнюю беду, то ли предчувствие подсказало ему расположиться так, чтобы к нему ниоткуда не подойти и чтобы он, наоборот, видел любого, кто приближается к пещере.

Сандро забеспокоился: как понять этот, казалось бы, здравый поступок главаря? Что, если он начал о чем-то догадываться?

Так прошла у них та ночь, а наутро Гурам Джохадзе велел седлать коней. И никто не знал, что у него на уме и что намерен он предпринять. И когда лошади были уже оседланы и все молча стояли перед ним, держа коней под уздцы, он со вздохом сказал:

– Нет, не годится так уходить с родной земли. Будем сегодня прощаться с землей нашей, взрастившей нас, а потом разбредемся кто куда. Но пока мы еще здесь, будем как у себя дома.

Он отправил двоих конников в ближайшее селение, где у него были верные люди, за вином и едой, еще двоих, Сандро и другого парня, оставил собирать сушняк для костра и стеречь лошадей, а сам с двумя оставшимися пошел на охоту подстрелить, если удастся, какую-либо дичь, а то и косулю на прощальный ужин.

Чекисту Сандро ничего не оставалось, как подчиниться и ждать подходящего момента, когда он сможет привести в исполнение приказ. Но пока что такой удобной ситуации не возникало.

Вечером все шестеро и седьмой снова собрались вместе: на краю леса возле пещеры разложили костер, расставили на холстине, привезенной из селения, хлеб, вино, соль, еду, что передали им на прощание верные люди Гурама Джохадзе. Костер разгорелся вовсю. Семеро приблизились к огню.

– Все ли кони оседланы и все ли готовы стать на стремя? – спросил Гурам Джохадзе.

В ответ все молча кивнули головами.

– Слушай, Сандро, – заметил Гурам Джохадзе, – дрова ты хорошие собрал, сильно горят, но почему ты оставил их так далеко от костра?

– Не беспокойся, Гурам, это моя забота, отвечать за огонь буду я. А ты скажи свое слово.

И тогда Гурам Джохадзе сказал:

– Други мои, мы проиграли свое дело. Когда стороны воюют, кто-то побеждает, кто-то терпит поражение. На то они и воюют. Мы проливали кровь, и нашу кровь проливали. Много сынов и с той и с другой стороны сложили свои светлые головы. Что было, то было. Прощения прошу у погибших друзей и погибших врагов. Когда враг погибает в бою, он перестает быть врагом. Будь я сейчас на коне, я все

равно просил бы прощения у погибших. Но судьба отвернулась от нас, потому и народ в большинстве своем отвернулся от нас. И даже земля, на которой мы родились и выросли, не желает, чтобы мы оставались на ней. Нам нет на ней места. И нет нам прощения. Если бы я был победителем, я бы не миловал своих врагов, говорю это как перед Богом. Сейчас у нас только один выход – унести свои головы в чуждеальные стороны. Вон за той большой горой – Турция, рукой подать, а чуть в стороне, за хребтом, над которым поднимается луна, – Иран. Выбирайте, кому куда. Сам я отправляюсь в Турцию, в Стамбул, буду там грузчиком на пароходах. Каждый из нас должен сейчас решить, где ему приклонить голову. Нас осталось семеро. И через некоторое время мы, один за другим, отправимся на чужбину в семь разных сторон. Разбредемся по свету, каждому предстоит испить свою горькую чашу. Больше мы никогда не увидимся. Это последний день, когда мы, семеро оставшихся в живых, вместе и когда мы видим и слышим друг друга. Так давайте же попрощаемся друг с другом и попрощаемся с землей нашей, попрощаемся с грузинским хлебом и солью, попрощаемся с нашим вином. Такого вина больше нигде не пригубишь. Простившись, мы разойдемся каждый в свою сторону. Мы ничего не уносим с собой, даже песчинки с грузинской земли. Родину невозможно унести, можно унести только тоску, если бы родину можно было перетаскивать с собой, как мешок, то цена ей была бы грош. Так выпьем напоследок и споем напоследок наши песни...

Вино было бурдючное, крестьянское, в нем сочеталось земное и небесное. Оно пробудило удалой хмель и желание излить свою печаль, в душах заново боролись веселье и грусть. И песня полилась сама по себе, как пробивается вдруг родник среди камней на горном склоне, и всему, что будет соприкасаться с его водой на всем пути, – тому цвести и умножаться. И тихо завели они песню отцов, и тихо нарастала она, гортанно журча, как родник со склона, – все семеро превосходно пели, ибо нет непоющего грузина, пели слаженно, каждый по-своему и в свою силу, и песня разгоралась, подобно костру, вокруг которого они стояли.

Так начиналось прощальное песнопение семерых, вернее шестерых и седьмого, который, однако, не забывал ни на минуту о том, что ему предстояло совершить. Никто из них, и прежде всего Гурам Джохадзе, не должен был уйти безнаказанно за границу. Этого он,

чекист, допустить не мог – так гласил полученный им приказ. И он должен был выполнить этот приказ.

А песни пелись одна за другой, и пилось вино, которое чем больше пьешь, тем охотнее оно пьется, и тем сильнее горит душа, жаждущая снова и снова вина и песни.

Они стояли в кругу, иногда возложив руки на плечи друг другу, иногда уронив их плетями, а когда хотели, чтобы их услышала божественная сила, неведомая и неотвратимая, но всевидящая и всезнающая, воздевали руки к небу. Как же так, если Бог все видит и все знает, куда он гонит их с земли своей? И почему так устроено, что люди воюют и борются между собой, что льется кровь, льются слезы, и каждый считает себя правым, а другого неправым, и где же истина, и кто ее вправе изречь? Где тот пророк, который бы их рассудил по справедливости?.. Не об этом ли, не об этих ли вылившихся в напеве страданиях, пережитых давным-давно, осмысленных отцами как изначальный опыт добра и зла, прочувствованных в их красоте и вечности, пелось в тех старинных песнях, сохраняемых в памяти народа? И потому в устах тех семерых от одной песни рождалась другая и они не размыкали круга, но седьмой, Сандро, время от времени покидал круг, чтобы поднести дров и подложить в костер. Не зря, пожалуй (на все ведь есть своя причина в жизни), не зря сложил он сушняк в лесу огромной кучей, зато теперь сам заведовал огнем. И песни он пел, как все, от души – ведь песни принадлежат всем в равной мере. Нет песен, которые бы пелись только царями, а другим их нельзя было бы петь, как нет таких песен, которые были бы достойны только черни. Пой, веселись, грусти и плачь, танцуй, покуда жив...

Кого ты любил, кого, трепеща, ждал на свидание, кто разлюбил тебя, и как страдал ты и как хотел, непонятый, умереть, и чтобы песню твою предсмертную услышала бы она, и как ласкала мать тебя в детстве, и где голову отец сложил, как други бились в бою кровавом, каким богам ты душу открывал в порыве чистом и бескорыстном; и думал ли, что такое рождение человека, и думал ли, что смерть всегда с тобой, пока ты дышишь, а после смерти смерти нет, но жизнь выше смерти, нет меры в мире выше жизни – и потому избегни смертоубийства, но коли враг пришел на землю, землю свою защити; и честь любимой береги, как землю родную; изведал ли, что есть



разлука и что разлука тяжка, как тяжело на себя взвалить гору, что без любимой ничто не отрадно: ни цвет, ни свет, ни день грядущий, – да и мало ли о чем поется в песнях – всего не перескажешь...

И не было в ту ночь людей родней и ближе меж собой, чем эти семеро грузин, поющих горестно и вдохновенно в час разлуки. Стихия песен сближала их еще тесней. Как много все же сумели предки пережить и придумать впрок для потомков задушевных слов, полных бессмертной гармонии. Как по полету можно отличить птицу, так по песне грузин грузина отличит за десять верст и скажет, кто он, откуда он, что с ним, что на душе у него, – на свадьбе развеселой был или горе его томит...

Уже луна довольно высоко поднялась над горами, луна заливала мягким светом всю землю – лес вкрадчиво покачивался темными верхушками от дуновения ветра, река приглушенно шумела, поблескивая, переливаясь влажным серебром по валунам, ночные птицы, как тени, неслышно пролетали над головами поющих у костра, и даже лошади, оседланные, терпеливо ждущие хозяев, прядали чуткими ушами, и в глазах их плясали огненные блики... Тем лошадям был уготован путь в чужие страны, и тот час приближался...

Но песням, казалось, конца не будет, за все отпеться решил, должно быть, Гурам Джохадзе: «Так пойте, други, пейте вино, нам больше вместе не собраться в круг, и слух наш не ублажат грузинские напевы...» То пели порознь, то вместе, то танцевали под собственный аккомпанемент истово и ярко, как перед смертью, и снова становились в круг те семеро, вернее шестеро и седьмой. Сандро же то и дело выходил из круга – дрова подбрасывал в огонь, и жарко-жарко горел костер.

Решили спеть последнюю песню, потом еще, еще одну на прощанье, все не унимались и снова собрались в круг, склонили головы, и задумчиво и мощно нарастал, как гул из-под земли, напев. Сандро же снова отошел за дровами, хотя костер горел ярко. То был точный расчет – со стороны он отчетливо видел каждого из шестерых, стоящих в кругу, а тем, что пели у спящего зрение костра, он плохо был виден... Тяжелый маузер был уже готов – на взводе. Настал неотвратимый час расплаты, час возмездия. Вскинул многозарядный скорострельный маузер, опустил на руку для опоры и первым выстрелом, прогрохотавшим во тьме подобно грому, свалил главаря

Гурама Джохадзе и тут же, не умерли еще слова песни, слетавшие с уст, уложил подряд всех остальных, и они даже не успели понять, что произошло. И так и еще раз в порочной круговерти убиений, и еще раз за пролитую кровь кровь пролил.

Да, законы человеческих отношений не поддаются математическим исчислениям, и в этом смысле Земля вращается, как карусель кровавых драм... Так неужто карусели этой дано кружить до самого скончания света, пока вращается Земля вокруг Светила?

Огонь был метким, и лишь один вдруг судорожно приподнялся на руках, но Сандро подскочил к нему и уложил выстрелом в затылок... Кони шарахнулись в испуге и снова замерли на привязях...

Костер еще горел, река шумела, лес и горы – все на месте, и луна на своем месте в невозмутимой высоте, только оборвалась песня, так долго звучавшая в тот вечер...

Лицо Сандро в ночи было бело как мел, он задыхался, схватил бурдюк с оставшимся на дне вином и, обливаясь, захлебываясь, стал пить, чтобы залить огонь внутри... Потом отдышался, спокойно обошел убитых, что в разных позах лежали вокруг костра. Затем снял оружие убитых, привесил к лукам их седел, сбросил уздечки и недоуздки с конских голов и отпустил коней на волю. Отпустил всех семерых коней, в том числе и своего гнедого... И смотрел, как они, почуявши свободу, гуськом пошли в низовья, в предгорное селение к людям... Ведь лошади всегда идут туда, где живут люди... Но вот стих и цокот подков, и скрылись в зыбкой лунной придымленности идущие цепочкой силуэты лошадей внизу...

Все было сделано. Сандро еще раз молча обошел шестерых, сраженных наповал, и, отойдя чуть в сторону, приставил дуло маузера к виску. Еще раз выстрел прозвучал в горах коротким эхом. Теперь он был седьмым, отпевшим свои песни...

Так завершилась та грузинская баллада.

Об этом я вдруг вспомнил, слушая в музее болгарских певцов, исполнявших староболгарские церковные песнопения. Эти песнопения были созданы людьми, возвышенно и даже исступленно взывающими из тьмы веков к Всевышнему, сотворенному ими же, к нереальности, превращенной ими же в духовную реальность, людьми, убежденными, что они так одиноки в этом мире, что лишь в песнях и молитвах они найдут Его.

Я вспомнил и пережил всю ту историю в какие-то секунды. По сравнению со скоростью мышления скорость света – ничто; мысль, что, уходя в прошлое, может двигаться в обратном направлении во времени и в пространстве, быстрее всего...

Теперь я поверил, что так оно и могло быть в те годы в самом деле. В заключение рассказа «Шестеро и седьмой» автор писал, что Сандро, то есть седьмой, был посмертно награжден каким-то орденом.

Но когда б трагедии гражданских войн не оборачивались трагедиями нации, когда б сопротивление одних истории нововходящей и нетерпение других в борьбе за ускорение этой же истории не переменили жизнь на корню, откуда бы эти страшные борозды на пашне революции и разве имела бы грузинская баллада такой исход?.. Цена ценою познается... Ведь тот, седьмой, мог бы торжествовать, остаться жить, но он не остался – по причинам труднообъяснимым. Всякий может истолковать их по-своему. А мне в тот час, когда я плыл в ладье болгарских песнопений под белым парусом возвышенного духа, что вечно бороздит вдали открытый океан бытия, подумалось, что причиной такого завершения грузинской бЫли послужили песни, в которых заключалась вера всех семерых...

Когда открытие делаешь для себя, все в тебе согласно и наступает просветление души. Глядя, как праведно, преданно и вдохновенно сияли глаза софийских певчих, поющих заветные гимны, как лица их от напряжения покрылись обильным потом, завидовал, что я не среди них, что я не тот, не мой двойник.

И на той волне нахлынувшего просветления подумалось вдруг: откуда все это в человеке – музыка, песни, молитвы, какая необходимость была и есть в них? Возможно, от подсознательного ощущения трагичности своего пребывания в круговороте жизни, когда все приходит и все уходит, вновь приходит и вновь уходит, и человек надеется таким способом выразить, обозначить, увековечить себя. Ведь когда все кончится, когда наступит тот грядущий через миллиарды лет конец света и планета наша умрет, померкнет, какое-то мировое сознание, пришедшее из других галактик, должно непременно услышать среди великого безмолвия и пустоты нашу музыку и пение. Вот ведь что неистребимо вложено в нас от сотворения – жить после жизни! Как важно осознавать человеку, как необходимо быть уверенным ему в том, что такое продление себя

возможно в принципе. Наверное, люди додумаются оставить после себя какое-то вечное автоматическое устройство, некий вокально-музыкальный вечный двигатель – это будет антология всего лучшего в культуре человечества за все времена, и верилось мне, когда я наслаждался пением певчих, что те, кто услышит эти слова и музыку, смогут понять, почувствовать, какими противоречивыми существами, какими гениями и мучениками были люди на земле, единственные обладатели разума.

Жизнь, смерть, любовь, сострадание и вдохновение – все будет сказано в музыке, ибо в ней, в музыке, мы смогли достичь наивысшей свободы, за которую боролись на протяжении всей истории, начиная с первых проблесков сознания в человеке, но достичь которой нам удалось лишь в ней. И лишь музыка, преодолевая догмы всех времен, всегда устремлена в грядущее... И потому ей дано сказать то, чего мы не могли сказать...

Посматривая на часы, я не без ужаса ожидал, что кончится концерт в любимом мною Пушкинском музее и мне предстоит отправиться на Казанский вокзал, совсем в иной мир, и погрузиться в совсем иную жизнь, ту, что колобродит испокон веков в омуты суеты и коловращений, где божественные песни не звучат, да и ничего не значат... Но именно поэтому я должен быть там...

Минуло полдня, поезд уже шел по приволжским краям, и в купированных вагонах успел установиться свой, насколько это возможно, стабильный дорожный быт, рассчитанный на много дней пути, а в общем вагоне, в котором ехал Авдий Каллистратов, шла, можно сказать, коммунальная жизнь. Народ ехал разный, и у каждого была своя причина следовать в поезде. И все это было в порядке вещей – людям надо, люди едут. И среди них – гонцы за анашой, попутчики Авдия Каллистратова. Он догадывался, что гонцов в этом поезде ехало с добрый десяток, но сам он пока знал только двоих – тех, к которым приставил его на вокзале разбитной носильщик Утюг. То были мурманские молодчики: один постарше, Петруха, лет двадцати, и второй совсем еще мальчик, шестнадцати лет, звали его Леней, но и он, Леня, отправлялся на промысел уже во второй раз. Оттого считал себя бывалым волком и даже кичился тем. Держались мурманчане поначалу сдержанно, хотя и знали, что Авдий, Авдяй, как стали они его звать на северный лад, свой человек, что начинает он в гонцах по рекомендации надежных людей. Разговаривать намеками о делах пришлось в основном в тамбуре, на перекурах. Народ теперь не терпел уже курящих в вагоне при таком скоплении и при без того спертном воздухе. Вот и выходили в тамбур поболтать да покурить. Первым обратил внимание, что курит Авдий не так, как следовало бы людям их пошиба, Петруха:

– А ты, Авдяй, сроду не курил, что ли? Как дамочка какая, боишься, что ли, затянуться?

Пришлось соврать:

– Курил когда-то, да бросил...

– Оно и видно, а я вот сызмальства привык. А наш Леня – тот куряка так куряка, как дед какой смолит, да и выпить при случае не пропустит. Сейчас нам, правда, нельзя, зато потом врежем.

– Так ведь мал он еще!

– Кто мал, Леня? Мал, да удал. Ты-то вот вроде впервой движешься по крупному делу, это тебе не шабашка какая. А он уже все ходы-выходы знает, будь здоров!

– И травку тоже потребляет или в гонцах только ходит? – поинтересовался Авдий.

– Ленька-то? А то как же, курит. Теперь все курят. Так ведь курить надо с умом, – стал рассуждать Петруха. – Иные есть – наглотаются до умопомрачения, такие в дело не годятся. Это тухляки. Завалят всю малину. Травка – она какая, она – радость приносит, на душе рай от нее.

– А отчего радость?

– А оттого, вон, скажем, маленький ручеек протекает, его перешагнуть да переплюнуть, а для тебя он – река, океан, благодать. Вот тебе и радость. А ведь радость – дело какое, откуда взять ее – радость? Ну, к примеру, хлеб купишь, одежду купишь, обувь тоже купишь, водку все пьют тоже за деньги. А от травки, хоть и деньги платятся немалые, – приятность особая: ты будто во сне, и все вокруг ну прямо как в кино. Только разница в том, что кино глазают сотни да тысячи, а тут ты сам по себе только, и никому нет дела, а кто сунется, тому можно и в рыло дать, не твое, мол, дело, как хочу, так и живу, не лезь в чужой огород. Вот ведь оно какой оборот! – И, помолчав, намекнул хамовато, щуря острые глаза: – А то, Авдьяй, попробуешь, может, травки, покайфуешь для приятности, могу уделить из личных запасцев...

– Да я уж своего попробую, – отказался Авдий, – вот когда свой пай добуду, тогда другое дело.

– Тоже верно, – согласился Петруха, – свое есть свое. – Помолчал и решил высказаться дальше: – В нашем деле, Авдьяй, главное – осторожность, потому как все вокруг наши враги: каждая бабка, каждый ветеран с медалехой, каждый пенсионер, а о других и говорить нечего. Всем так и хочется, чтобы нас засудили да рассовали подальше по каторгам, чтобы с глаз долой. А потому правило у нас такое – веди себя вроде ты никто, неприметная серая птичка, пока свой куш не сорвал. А потом знай наших! Когда деньги в кармане, пошли они все к такой-то матери... А если что, Авдьясь, умри-подохни, но своих не выдавать. Это закон. А не выдержишь, так и так – хана, пришить могут как собаку. Хоть и в зоне, а все равно достанут. Это тебе не шуточки-игрушечки...

Выяснялось постепенно, что Петруха где-то на строительствах разных работал, а как лето наступало, отправлялся в примоюнкусские

края, знал места, богатые анашой. Говорил, заросли есть такие, особенно по балкам, завались, хоть на весь мир хватит. Дома у него только мать была престарелая, пьющая. Братья разъехались кто куда, в Заполярье, на газопровод. Зашибают, как выразился, бедолаги, деньгу то в холодах, то в гнусе сплошном. А он прогуляется разок в Азию-косоглазию, и хоть весь год живи – поплеывай себе в потолок, только бы слюны хватило. А у его напарника Леньки дела семейные обстояли еще хуже. Матери не знал. Определен был в Дом малютки. А когда было ему года три, какой-то мурманский капитан дальнего плавания, что главным образом на Кубу ходил, заявился с женой в приют и взял по всем правилам мальчишку на усыновление. Детей своих у них не было. А через пять лет все пошло прахом. Жена капитана укатила с кавалером куда-то в Ленинград. Капитан запил, перешел на портовые работы. Ленька учился в школе кое-как, жил то у тетки капитана, то у брата его, бухгалтера, а у того жена – цербер, и так и пошло все одно к одному, и отбился малый от рук, остервенел. Ушел от капитана насовсем. Пристроился у одного инвалида войны, бывшего подводника, одинокого, доброго, но влияния на Леньку не имевшего. Парень жил как хотел. Захотелось куда-то закатиться – закатился. Захотелось вернуться – объявился. И вот уже второй сезон Ленька отправлялся гонцом за анашой, да и сам, похоже, пристрастился к этому зелью дурному, а ведь ему всего шестнадцать лет, и впереди вся жизнь...

Авдию Каллистратову стоило немалой выдержки не реагировать на все вопиющие подробности, поскольку он поставил себе задачу – постичь природу этих явлений, затягивающих в свои тенета все новых и новых молодых людей. И чем больше вникал он в эти печальные истории, тем больше убеждался, что все это напоминало некое подводное течение при обманчивом спокойствии поверхности житейского моря и что, помимо частных и личных причин, порождающих склонность к пороку, существуют общественные причины, допускающие возможность возникновения этого рода болезней молодежи. Причины эти на первый взгляд было трудно уловить – они напоминали сообщающиеся кровеносные сосуды, которые разносят болезнь по всему организму. Сколько ни вдавайся в эти причины на личном уровне, толку от этого мало, если не вовсе никакого. Тут необходимо было как минимум написать целый

социологический трактат, а лучше всего открыть дискуссию – в печати и на телевидении. Вон он чего захотел, ну точно пришелец... А он и был таковым, если учесть его семинаристскую ограниченность и неведение повседневной жизни. Потом он убедится: никто не заинтересован в том, чтобы о подобных вещах говорилось в открытую, и объяснялось это всегда соображениями якобы престижа нашего общества, хотя, по сути дела, речь шла прежде всего о нежелании рисковать лишней раз своим положением, зависящим от мнения и настроения других лиц. Видимо, для того чтобы поднять тревогу о неблагополучии в какой-то части общества, помимо всего прочего нужно было еще не бояться поступить во вред себе. К счастью и несчастью своему, Авдий Каллистратов был свободен от бремени такого затаенного страха. Но пока все эти житейские открытия были впереди. Он только вступал на этот путь, только соприкасался с той стороной действительности, которую он из сострадания к заблудшим душам жаждал познать на собственном опыте, чтобы помочь хотя бы некоторым из этих людей, и не нравоучениями, не упреками и осуждением, а личным участием и личным примером доказать им, что выход из этого пагубного состояния возможен лишь через собственное возрождение и что в этом смысле каждому из них предстоит совершить революцию в масштабах хотя бы своей души. Но опять же он не предполагал, как дорого придется платить за такие прекраснодушные идеи.

Молод был. Разве что только молод был... А ведь как изучал в семинарии историю Христа – переносил Его муки на себя в такой степени, что плакал навзрыд, когда прочел, как в Гефсиманском саду Его предал Иуда! О, какое крушение мироздания видел он в том, что Христа распяли в тот жаркий день, на той горе на Лысой. Но не подумал в ту пору малоопытный юнец: а что, если существует на свете закономерность, согласно которой мир больше всего и наказывает своих сынов за самые чистые идеи и побуждения духа? Быть может, стоило подумать: а что, если это есть форма существования и способ торжества таких идей? Что, если это так? Что, если именно в этом – цена такой победы?

Хотя еще в самом начале был как-то об этом разговор с Виктором Городецким, которого, несмотря на небольшую разницу в годах, Авдий



величал Никифоровичем. А разговор зашел перед тем, как Авдий уже решился порвать с духовной семинарией.

– Что мне сказать? Видишь ли, отец отрок, ты не обижайся, Авдий, что подчас отцом отроком тебя зову, но сочетание уж больно хорошее, – размышлял Городецкий, когда они пили чай у него дома. – Ты уйдешь из семинарии, а скорей всего тебя отлучат от церкви, я уверен, что наставники твои не допустят, чтобы ты покинул их, бросив им вызов... Тем более что ты уходишь по причине, так сказать, редкой и очень неприятной для церкви – не потому, что ты какую-нибудь несправедливость испытал, не из-за обиды, притеснений и не потому, что поскандалил с каким-нибудь лицом церковным, нет, отец отрок, церковь перед тобой ни в чем не виновата... Ты порываешь, так сказать, по чисто идейным соображениям.

– Да, Виктор Никифорович, это так. Прямых причин нет, это было бы слишком просто – обида. Дело вовсе не во мне, а в том, что традиционные религии на сегодняшний день безнадежно устарели, нельзя всерьез говорить о религии, которая рассчитана была на родовое сознание пробуждающихся низов. Сами понимаете, если история сможет выдвинуть новую центральную фигуру на всемирном горизонте верований, фигуру Бога-современника с новыми божественными идеями, соответствующими нынешним потребностям мира, тогда еще можно надеяться, что вероучение будет чего-то стоить. Вот причина моего ухода.

– Понимаю, понимаю! – снисходительно улыбнулся Городецкий и, прихлебывая чай, продолжал: – Звучит все это вроде ошеломляюще. Но прежде чем коснуться твоей теории, должен сказать тебе, что сижу сейчас, чай пью и радуюсь самым натуральным образом, что мы с тобой не в Средние века живем. Да за такую неслыханную ересь где-нибудь в католической Европе, в Испании или в Италии, только за то хотя бы, что ты осмелился сказать, а я имел неосторожность выслушать тебя, нас бы с тобой, отец мой отрок, вначале четвертовали бы, потом сожгли бы на костре, потом перемололи бы останки в порошок и развеяли бы по ветру. Ух как люто расправилась бы инквизиция с нами, с каким удовольствием! Уж если священная инквизиция сожгла одного несчастного только за то, что в доносе на него было сказано, будто он позволил себе загадочно улыбнуться при упоминании непорочного зачатия, то надо думать...

– Виктор Никифорович, прости, но придется тебя перебить, – усмехнулся Авдий, нервно застегивая пуговицы черного семинаристского сюртука. – Я понимаю, что немало развеселил тебя, но без шуток, если бы в наше время существовала инквизиция и если бы завтра мне грозило сожжение на костре за мою ересь, я не отказался бы ни от одного своего слова.

– Верю, – согласно кивнул Городецкий.

– Я пришел к этой идее не случайно. Я пришел к ней, изучив историю христианства и наблюдая над современностью. И я буду искать новую, современную форму Бога, даже если мне никогда не удастся ее найти...

– Это хорошо, что ты упомянул об истории, – прервал его Городецкий. – Теперь послушай меня. Твоя идея о новом Боге – это абстрактная теория, хотя в чем-то и чрезвычайно актуальная, выражаясь языком наших интеллектуалов. Это твои соображения, как прежде говорили, умственные выкладки. Ты программируешь Бога, а Бог не может быть умозрительно придуман, как бы это заманчиво и убедительно ни выглядело. Понимаешь, если бы Христос не был распят, он не был бы Господом. Эта уникальная личность, одержимая идеей всеобщего царства справедливости, вначале была зверски убита людьми, а затем вознесена, воспета, оплакана, выстрадана, наконец. Здесь сочетается поклонение и самообвинение, раскаяние и надежда, кара и милость – и человеколюбие. Другое дело, что потом все было извращено и приспособлено к определенным интересам определенных сил, ну да это судьба всех вселенских идей. Так вот подумай, что сильнее, что могущественней и притягательней, что ближе – Бог-мученик, который пошел на плаху, на крестную муку ради идеи, или совершенное верховное существо, пусть и современно мыслящее, этот абстрактный идеал.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.